

литературно-публицистический журнал

# СИОН'Х

ИЗДАЕТСЯ  
С 1972 ГОДА



СОВЕТСКОЕ ЕВРЕЙСТВО И РУССКИЙ  
ЯЗЫК

Ш.-И. АГНОН. ВО СЛАВУ НАУКИ

В. ЖАБОТИНСКИЙ. ЭДМЭ

Э. ЛЮКСЕМБУРГ. ЗЕЕВ ПАЗ

Д. МАРКИШ. В СТРАНЕ МОЛОКА И  
МЯСА

Л. ЯГМАН. СИОНИСТЫ В СОВЕТСКИХ  
ПОЛИТЛАГЕРЯХ

З. ГИЛАД. ВТОРАЯ ЕВРЕЙСКАЯ  
ПРОФЕССИЯ

Р. СИВАН. ПРОРОЧЕСТВО ЕРЕТИКА

Л. КРИПШЕ. ИЗ ЗАПИСОК ЭМИГРАНТА

СТИХИ П. МАРКИША, Л. ХАЛИФА,

Э. ПОЗНАНСКОЙ, И. БОКШТЕЙНА

12  
1975

**Антисионистская резолюция ООН от 10 ноября 1975 года — позорное и страшное решение.**

**Эта резолюция дает в руки тоталитарных режимов кровавый мандат на проведение еврейских погромов, дает им возможность жесточайшими методами расправиться с любым проявлением еврейской национальной жизни, убивает добытое дорогой ценой право на репатриацию в Израиль.**

**Над трехмиллионной общиной наших братьев за колючей проволокой коммунистического лагеря занесен кулак погрома.**

**Мы обращаемся ко всем евреям свободного мира — поднимитесь!  
НАЦИЯ В ОПАСНОСТИ!**

**Координационный комитет активистов  
алии из Советского Союза.**

# СИОН

# סיון

## Литературно-публицистический журнал

издается координационным комитетом активистов алии  
из Советского Союза

№12

Тель-Авив

ноябрь 1975

### С О Д Е Р Ж А Н И Е

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ШИМОН БЕН-ТАМАР. Советское еврейство и русский язык                                  | 3   |
| ШМУЭЛЬ-ИОСЕФ АГНОН. Во славу науки. Рассказ. Перевод<br>с иврита А. Белова . . . . . | 7   |
| ЛЕВ ХАЛИФ. Стихи . . . . .                                                           | 8   |
| ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ. Зеев Паз. Повесть. Окончание . . . . .                               | 38  |
| ЭТЕЛЬ ПОЗНАНСКАЯ. Стихи . . . . .                                                    | 89  |
| ИЛЬЯ БОКШТЕЙН. Стихи . . . . .                                                       | 93  |
| В. ЖАБОТИНСКИЙ. Эдмэ. Рассказ пожилого доктора . . . . .                             | 98  |
| Д. МАРКИШ. В стране молока и мяса . . . . .                                          | 108 |

### К 80-летию ПЕРЕЦА МАРКИША

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ПЕРЕЦ МАРКИШ. Стихи. Перевод с идиш Ю. Александрова,<br>А. Ахматовой, Д.М. . . . . | 119 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### ИСХОД

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Л. ЯГМАН. Сионисты в советских политлагерях . . . . .  | 127 |
| ЯАКОВ БЕРНШТЕЙН КОЭН. Из книги "Мои мемуары" . . . . . | 133 |
| Продолжение . . . . .                                  | 133 |
| ЗВУЛОН ГИЛАД. Вторая еврейская профессия . . . . .     | 158 |

### НАША ЗЕМЛЯ

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| М. АБИР. История заселения Палестины . . . . . | 163 |
| РЕУВЕН СИВАН. Пророчество еретика . . . . .    | 176 |

### СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| "ЕВРЕЙСКАЯ СТАРИНА" . . . . .                       | 180 |
| Л. КРИППЕ. Из записок эмигранта 1881 года . . . . . | 184 |

### КОРОТКО О КНИГАХ

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Связь времен. Лия Владимирова . . . . .        | 204 |
| Шестидневная война. Р. и У. Черчилль . . . . . | 205 |
| Дворец битых сосудов. Д. Шахар . . . . .       | 207 |

# צ ו ן

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| 3   | שמעון בן תמר. יהדות בריה"מ והשפה הרוסית |
| 7   | שמואל יוסף עגנון. עד עולם. . . . .      |
| 8   | לב חליף. שירה. . . . .                  |
| 38  | אלי לוכסמבורג. זאב פז. (הסוף) . . . . . |
| 89  | אתל פוזננסקה. שירה. . . . .             |
| 93  | איליה בוקשטיין. שירה. . . . .           |
| 98  | י. ז'בוטינסקי. אדמה. סיפור. . . . .     |
| 108 | ד. מרקיש. בארץ חלב ובשר. . . . .        |

## 80 שנה להולדתו של פרץ מרקיש

|     |                          |
|-----|--------------------------|
| 119 | פרץ מרקיש. שירה. . . . . |
|-----|--------------------------|

## אקסודוס

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 127 | ל. יגמן. ציונים במחנות לאסירים בברה"מ     |
| 133 | יעקב ברנשטיין-כהן. ראשית. קטעים. . . . .  |
| 158 | זבולון גלעד. המקצוע היהודי הנוסף. . . . . |

## אדמתנו

|     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 163 | מ. אביר. תולדות הישוב היהודי בא"י . . . . . |
| 176 | ראובן סיוון. נבואתו של כופר. . . . .        |

## עמודים מן העבר

### כתב עת "יבריסקיה סטרינה" (ימי קדם של

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 180 | (היהודים) . . . . .                 |
| 184 | ל. קריפה. רשימותיו של מהגר. . . . . |

## בקצור על ספרים

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| 204 | קשת בין הזמנים. לאה ולדימירובנה. . . . . |
| 205 | מלחמת ששת הימים. צ'רצ'יל. . . . .        |
| 207 | ארמון חביות שבורות. ד. שחר. . . . .      |

## СОВЕТСКОЕ ЕВРЕЙСТВО И РУССКИЙ ЯЗЫК

*Любой из десятков языков и наречий еврейской диаспоры — это мост к ивриту, к ивритской культуре, духовному и политическому миру Израиля. Информации об этом мире евреи галута получают на языках стран рассеяния.*

*Язык советского еврейства — русский язык, не иврит и не идиш, а именно русский, если мы хотим говорить о советском еврействе как об особой национально-культурной общности. Это родной язык подавляющего большинства евреев, обитающих на территории Советского Союза (когда во время переписи мы отвечали: "еврейский" — чаще всего мы тешили свое национальное чувство, не более того), и язык культуры всех без изъятия евреев — российских, прибалтийских, грузинских, горских, бухарских. Это факт, которого не ставят под сомнение ни ведомости зарплат в журнале "Совэтиш Хэймланд", ни редкие афиши еврейских концертов на рекламных щитах советских городов, ни даже грузинско-еврейская периодика, родившаяся на израильской земле.*

*Это не радостный факт в нашей истории, это результат многих катастрофических сдвигов, от насильственных переселений в Первую мировую войну, революции, погромов Гражданской войны и слепого, безоглядного разрушения традиционных форм еврейской жизни самими евреями в первые два десятилетия советской власти до физического истребления идишистской культуры в конце сороковых —*

*начале пятидесятих годов и политики культурного геноцида, проводившейся и проводящейся без малейшего послабления. Но радостный или не радостный, это факт, из которого следует неоспоримый вывод: тот, кто сегодня хочет говорить с советским еврейством, должен говорить с ним на русском языке.*

*Но русский язык как один из массовых разговорных языков еврейства возникает не одновременно с русско-еврейской культурой. Более того: массовый переход от идиша к русскому (20-е — начало 30-х годов) совпадает с порой затухания этой культуры, родившейся более ста лет назад и прошедшей достаточно сложный путь. Она успела послужить и просветителям-ассимиляторам, и просветителям-националистам, и новорожденному сионизму. Она успела пройти и пору беспомощного младенчества, и годы неуклюжего отрочества, успела получить всероссийское признание (давши таких беллетристов, как Юшкевич и Айзман), успела узнать период высокого творческого подъема, поставившего ее на мировой уровень. Русско-еврейский историк и публицист Дубнов оказался преемником немецко-еврейского историка Грецца на престоле еврейской историографии. Исторические, историко-литературные, этнографические работы, печатавшиеся в доброй дюжине русско-еврейских повременных изданиях, открыли — без всяких преувеличений — новую эру в иудаистике. Еврейско-русские публицисты разных направлений (но все более — сионисты) создали в рамках русско-язычной публицистики свою, особую школу. Трагическая парадоксальная ситуация русско-еврейской культуры после революции состояла (и продолжает состоять) в том, что новая власть создавала для нее все новых и новых потребителей, одновременно удушая самое культуру как сионистскую, националистическую, антисоветскую.*

*В результате новое поколение национально мыслящих, то есть отвергающих дискриминирующую ассимиляцию совет-*

ских евреев, оказывается почти полностью оторванным от своих непосредственных предшественников, культурная традиция оказывается не только прерванной, но невосполнимо утраченной. Власти прекрасно понимают, что ни печатное слово на идиш, ни синагога, ни еврейские школы (если бы таковые вдруг открылись), ни даже подпольные ульпаны не составляют серьезной угрозы: для сегодняшнего еврея это лишь способ выразить свой протест против антисемитского режима. Но обратиться к евреям по-русски, печатно или изустно, даже на самую далекую от злобы дня тему (как это бывало в 20-е годы) власти не позволяют категорически. Потому что любой подобный разговор — будь-то о ритуальных процессах, о еврейской народной песне, о трудах Юлия Гессена (крупного советского статистика, благополучно скончавшегося в своей постели, а не на тюремных нарах, но, в то же время автора интереснейших работ по истории евреев в Польше и Российской империи) или же о влиянии языков еврейской диаспоры на современный иврит — уже не демонстрация, не символическое действие, а воспитание национального самосознания, приобщение к культурно-национальной общности и, в конечном счете, подготовка к репатриации. Народ, забывающий свое прошлое, не имеет будущего. Овладевая прошлым, воскрешая свои культурные традиции, советское еврейство прокладывает себе путь в будущее, каким бы оно ни оказалось — возвращением на землю Израиля или сохранением российской ветви мирового еврейства. Очевидно, впрочем, что оба эти решения нераздельны: будущая репатриация зависит не только от внешних преследований, но и от внутренней стойкости, от верности, осознанного выбора и сознательной любви.

Журнал "Сион" видит свою задачу в том, чтобы стать свободным голосом русскоязычного еврейства. Он обращается не только к тем бывшим "россиянам второго сорта" (по выражению Жаботинского), которые расстались с Со-

ветским Союзом, но — не в меньшей мере — к советскому еврейству. Он ощущает себя не просто израильским журналом (одним из многих) на русском языке, но прямым преемником "Восхода", "Еврейской жизни", "Еврейской старины", "Сафрута"... Он ставит своей неременною целью вернуть русско-еврейским читателям хотя бы часть того наследия, от которого они отторгнуты вот уже сорок лет, по меньшей мере, напомнить забытые или знакомые лишь понаслышке, а чаще и вовсе никогда не слыханные имена, рассказать о русско-еврейских изданиях. "Сион" ждет помощи и сотрудничества от евреев Советского Союза и российских евреев во всех странах. "Сион" просит всех их помнить, что он — их журнал, средство связи и духовного общения между ними, совладельцами общего достояния — русско-еврейской культуры.

Шимон Бен-Тамар



**ШМУЭЛЬ-ЙОСЕФ АГНОН,**  
лауреат Нобелевской премии

## **ВО СЛАВУ НАУКИ**

Рассказ

Перевод с иврита А. Белова

1

Двадцать лет жизни посвятил Архаил Блаже изучению тайн Гумлидаты, бывшей некогда большим городом, славой и гордостью сильных народов, пока полчища готтов не превратили ее в груды развалин, а ее обитателей — в вечных рабов.

После того, как ученый собрал все материалы, изучил их и проанализировал, расположил в должном порядке и просистематизировал, составил указатели и отредактировал, он пришел к выводу, что его труд заслуживает опубликования. И он подготовил рукопись к печати, А подготовив рукопись к печати, стал ходить с ней от одного издателя к другому и не нашел такого, кого бы она заинтересовала. Каждый издатель находил какой-нибудь предлог, чтобы отклонить эту рукопись, и хотя все предлоги были разные, по сути они отличались друг от друга только формой выражения.

Поняв, что не стоит возлагать больших надежд на издателей, наш ученый начал искать меценатов, покровителей наук и искусств, но таковых не находил. Все годы, отданные исследованиям, он совершенно не общался с университетскими кругами, отдалился от своих ученых собратьев, их жен и дочерей, и теперь, когда ему пришлось обратиться к ним за помощью, натыкался на холодный отказ. Глаза их из-под очков излучали нескрываемое удивление и неприязнь и как бы говорили: "А кто вы, собственно, такой, мы вас не знаем!"

Понутив голову, он каждый раз уходил разочарованный.

Во всяком случае, это послужило ему хорошим уроком: он понял, что если хочет, чтобы его признали, то должен сблизиться с учеными мужами и их семьями. Но Архаил не знал, как это делается... Годы, поглощенные наукой, превратили его в раба этой науки, и она владела им целиком - с того мгновения, когда он утром открывал глаза, до той минуты, когда поздно вечером смыкал их.

Но утром, как только Архаил просыпался, сами ноги несли его к письменному столу, к перу и бумагам, а глаза его (если в это время перед ними не вставали чарующие образы и видения древнего города) сами устремлялись к книгам, фотографиям и изображениям Гумлидаты или к картам военных действий, приведших к ее гибели.

Иногда он кое-что добавлял к написанному ранее, а иногда разом вычеркивал все, что писал в течение многих дней. Подобное случалось и по ночам. Часто, уже улегшись в кровать, он внезапно вскакивал, подходил к столу и перечитывал написанное. Иногда при этом морщился, иногда удовлетворенно качал головой, а порой посмеивался над автором, над его ошибками и просчетами, которые только теперь замечал...

Годы шли, а его книга в свет так и не вышла.

Ученый, чьи труды застряли и не печатаются, если он

умен, никогда не жалеет об этом, а напротив, даже доволен. Ведь у него остается время еще раз проверить свои предположения и исправить вкравшиеся ошибки, еще раз критическим оком просмотреть свои гипотезы и установить, соответствуют ли они истине. Таким автором и был Архаил Блаже. Он все неустанно проверял, уточнял и взвешивал, шлифовал каждую фразу, пока его труд не стал поистине безупречным. Но издателя для этой книги все же не находилось.

## 2

Когда Архаил Блаже совсем было потерял надежду увидеть свой труд напечатанным, случилось так, что Гавхард Гольденталь, один из самых богатых людей города, возымел желание опубликовать его исследование.

Трудно сказать, какими путями имя скромного труженика науки стало известно знаменитому богачу, и уж совсем непонятно, какой интерес нашел этакий делец в издании книги, которая ничего, кроме убытков, ему не сулила. Видимо, дело заключалось в том, что богатство само по себе не приносит человеку удовлетворения, поэтому-то Гавхард Гольденталь и стал проявлять интерес к людям науки. Даже к таким, которые не успели прославиться и завоевать громкого имени, но имели все шансы со временем стать знаменитыми и достичь всеобщего признания.

Другие же уверяли, что дело совсем не в этом. Они твердили, что в семье Гавхарда Гольденталья существовала традиция, передававшаяся из поколения в поколение, от деда к отцу — поощрять интерес к изучению прошлого города Гумлидаты. Люди утверждали, что его предки были родом оттуда, и во время оно принадлежали к числу самых знатных семейств. Один из них был генералом, стоявшим во главе горожан, которые самоотверженно боролись с полчи-

щами готтов и не щадя жизни защищали родной город, пока он не превратился в груду развалин.

Нет нужды говорить, что этот довод не имел под собой никаких оснований, так как Гумлидата была разрушена сразу, как только ею овладели готты. Кто мог бы сейчас действительно доказать, что Гольденталь — отпрыск одного из жителей этого славного города?..

Но все это не меняет сущности дела. Важно, что господин Гавхард Гольденталь согласился опубликовать книгу Архаила Блаже, несмотря на то, что издание подобной книги сопряжено с большими расходами, так как в ней много карт, и все они — многокрасочные, об этом уж позаботился сам автор.

Особый цвет был избран им для обозначения общего вида города и другой — для его храмов, иной — для его жертвенников и иной — для его главных богов — Чуша, Туша, Жруша, Алкуша и Вруша. Одной краской были изображены праматери города и другой — их праотцы, дитяти и отроки, третьей — Великий Пигмей, Краснолицый и Гимнаст, столпы языческого культа, четвертой — все прочие священнослужители, жрецы и жрицы, не считая блудниц, рожденных от знатных женщин, и блудниц, отец которых был рабом, а мать — аристократкой. Также для иеродул\* и для собак были отобраны свои особые краски — в зависимости от масти, цвета кожи или шерсти, цвета мантии и /для иеродул/ в зависимости от размеров гонорара, выплачиваемого им за те или иные услуги посетителями храма. Если к этому еще добавить особые цветовые обозначения для готтов и их приспешников, для кавалерии и пехоты, для военачальников и дезертиров, то станет ясно, как много денег надо было выложить, чтобы издать подобный труд.

Невзирая на все это, Гавхард Гольденталь был готов

\*Иеродулы — проститутки древних ханаанских языческих храмов. (Здесь и далее примечания переводчика).

напечатать монографию Архаила Блаже на хорошей бумаге, красивым шрифтом и в многокрасочном оформлении, со всеми необходимыми картами, в твердом переплете и с суперобложкой. Короче говоря, Гавхард Гольденталь брал на себя все расходы, связанные с выпуском этой книги в роскошнейшем издании — в качестве чуда полиграфического искусства, недоступного кому-либо другому. Служащие Гавхарда Гольденталья уже посетили известных художников и графиков, литографов и картографов, типографов и корректоров и уже подсчитали, во сколько обойдется издание этого исследования. Теперь Архаилу Блаже оставалось лишь встретиться с Гавхардом Гольденталем, ибо так уже было здесь заведено: все дела, которые выполняли его служащие, завершались самым дельцом-меценатом при личной встрече с заинтересованной стороной.

Если его партнером был простой человек, он приглашал его в свой рабочий кабинет; если то был человек известный, он приглашал его на чашку чая, а если он имел дело с человеком знаменитым, то в его честь устраивался специальный прием.

Архаил Блаже не был настолько знаменит, чтобы задавать для него пиры, но и к разряду простых людей его тоже нельзя было отнести, посему богач пригласил его на чашку чая.

В один прекрасный день Архаилу Блаже было сообщено, что завтра, в послеобеденный час, ему надлежит быть у господина Гавхарда Гольденталья. Его попросили прийти в точно назначенное время, так как сей господин собирается за границу и не располагает другим временем, а дело это он намерен завершить до своего отъезда.

Сочинитель, который так много лет тщетно искал издателя и неожиданно нашел его, понятно, не просрочит назначенного времени. Не выпуская из рук пригласительного письма господина Гольденталья, Архаил Блаже вынул из шкафа свой

лучший костюм, который не надевал с тех пор, как был увенчан званием доктора наук. Очистив его от пыли и старательно выгустив, он побежал к парикмахеру, от парикмахера — в баню, из бани — в магазин, где купил себе галстук. Оттуда он вернулся домой, чтобы еще раз пролистать свою рукопись.

Еще не настал день визита, а Архаил был уже в полной готовности. С тех пор, как он себя помнит, он не переживал такого знаменательного дня. Он, который ради развалин какого-то города перестал обращать внимание на себя и на окружающих, на свою одежду и жилье, на все, чему люди придают такое большое значение, вдруг совершенно преобразился. Архаил стал похож на множество других ученых, которые занимаются наукой только потому, что это возвышает их в глазах людей простых и неученых.

Так он сидел и перечитывал свою рукопись, время от времени поглядывая на часы. То и дело бросая взгляд на зеркало, он придирчиво контролировал свои движения и манеры, ибо каждый, кто ищет общества богачей, должен следить за тем, чтобы одежда его была приличной, лицо — благообразным, а движения изящными, так как богачи, даже почитатели науки, любят, чтобы носители ее представляли перед ними в наилучшем виде.

Однако наука, высосавшая из Архаила все его силы, согнувшая его спину и опустившая его плечи, непоправимо испортила фигуру ученого. Но зато она придала его лицу особое сияние — то сияние, которое бывает только у энтузиастов науки и ни у кого более. И, право, нам жаль этого богача, которому так и не удалось увидеть Архаила Блаже! Познакомившись с ним, он бы несомненно убедился, что существуют лица даже более привлекательные, нежели золото и серебро.

Вот видишь, друг-читатель, ради морали, заключенной в этом кратком изречении ("существуют лица...", т. д.), я

заранее сообщая тебе о несколько странной концовке моего рассказа...

Словом, Архаил Блаже то садился, то вставал, то шагал из угла в угол, нетерпеливо думая о будущем. О том, как его рукопись попадет в типографию, как она будет выглядеть, когда ее наберут крупным и красивым шрифтом; о том, как он будет держать корректуру, добавлять и сокращать, вычеркивать и вписывать; о том, как гранки превратятся в сверстанные листы, а листы — в готовую книгу; о том, как она поступит в продажу и как ее примут читатели...

Годы, отданные исследованиям, приучили его к сосредоточенности во всем, даже в делах, далеких от науки. И когда настало время идти к господину Гольденталю, он вскочил с места и взял в руки ключ от дома, чтобы запереть двери. В последний раз взглянув на себя в зеркало, а также оглядев стены своего жилища, он очень удивился, что они ничуть не изменились, остались такими же, как прежде. В его жизни внезапно наступила крутая перемена и все вокруг, казалось ему, должно было тоже измениться.

Внезапно Архаил услышал чьи-то шаги — и испугался: а не вздумал ли господин Гольденталь уехать раньше, чем обещал? Не прислал ли он гонца уведомить его, что их встреча откладывается?.. Огорчение было настолько сильным, что Архаилу показалось, что душа его вот-вот выпорхнет из тела. Но то была лишь скороспелая мысль слишком активного ума. К счастью, чувства его вполне нормально выполняли свои функции. Архаил весь превратился в слух. И тогда он явственно стал различать шарканье немощных старческих шагов. На сей раз ум сработал безотказно. И Архаил понял, что вряд ли такой человек, как Гольденталь, пошлет к нему в качестве гонца старушку.

Когда старушка подошла поближе, он ее узнал. То была сестра милосердия Эда Эдем, которая уже в течение многих лет один раз в году навещала к Архаилу Блаже за

иллюстрированными журналами для дома прокаженных. Ему было трудно отказать ей, брякнув: "Я занят, приходите через год", так как он очень ценил и уважал эту самоотверженную женщину, посвятившую себя тем, кто и при жизни подобен мертвецам. Но и задерживаться с ней ему тоже нельзя было: ведь не так-то просто втолковать старушке, что из-за этого может задержаться выход в свет его книги; что господин Гольденталь уезжает за границу и неведомо, когда оттуда вернется. И здесь я вынужден добавить от себя еще одну деталь, которая может показаться забавной, но я готов поклясться, что это сушая правда.

Для тех, у кого их внешний мир ограничен рабочим кабинетом, каждая лишняя, ненужная вещь кажется обременительной. Она их только раздражает. Так было и с Архаилом Блаже. Случалось, что он мысленно бродил по развалинам Гумлидаты и вел увлекательную беседу со священными храмовыми псами, докапываясь, сколько они стоили, или углублялся в другие столь же важные научные проблемы, — и в это время взор его натыкался на иллюстрированный журнал, который только отвлекал от размышлений и мешал сосредоточиться. Сейчас, когда пришла старушка, можно было от журналов избавиться. А если не сейчас, то они пролежат еще год, а за это время накопится целая груда других журналов. Но поскольку они ему были не нужны, следовательно, они только мешали.

Пока он так стоял и колебался между двумя необходимостями — издать свою книгу и избавиться от ненужных журналов, старушка постучалась в дверь. Архаил открыл ей и поздоровался с вошедшей.

Заметив, что он выглядит сегодня как-то странно и смотрит на нее отсутствующим взглядом, женщина сказала:

— Я вижу, господин доктор, что пришла в неурочное время. Уж лучше я уйду.

Он промолчал, не нашелся, что ответить. Старушка соби-

ралась уж было уходить, но в это время сердце ему подсказало, что женщине надо передохнуть после долгого и утомительного пути. Ведь колония прокаженных находилась далеко за городской чертой, а она, бедняжка, всю дорогу шла пешком своими слабыми ножками, ибо не могла пользоваться общественным транспортом. Узнав, откуда она, ее бы немедленно вышвырнули на шоссе, так как дом прокаженных до сих пор наводит на всех мистический страх.

— Меня очень огорчает, — обратился к ней Архаил, — что я не могу сейчас уделить Вам столько времени, сколько мне бы хотелось. Я приглашен на чашку чая к известному фабриканту Гавхарду Гольденталю, о котором Вы, наверно, слышали.

Ему было неизвестно, что сорок лет тому назад Гавхард Гольденталь собирался жениться на этой женщине, но она отвергла его предложение, решив посвятить свою жизнь несчастным страдальцам, так жестоко наказанным богом и людьми.

Архаил Блаже продолжал:

— У меня к нему дело, не терпящее отлагательств. Через час или полтора я вернусь. Очень прошу Вас посидеть здесь и дожждаться моего прихода. Я тогда наполню Вашу сумку книгами и журналами, сборниками и газетами. Они загромодили всю мою комнату, так что стало трудно дышать.

— Я бы охотно посидела здесь, господин доктор, — ответила старушка, — но не могу надолго оставлять без присмотра моих призреваемых. Они привыкли ко мне, и я привыкла к ним. Мне как-то не по себе, когда я их оставляю, ведь они постоянно нуждаются в моей помощи. И потому, с Вашего разрешения, господин доктор, я пойду. А если буду жива и здоровье позволит, навещу Вас через год.

Архаил Блаже понял, что никак нельзя отпустить ее ни с чем и обязательно надо рассказать, почему он так спешит. И уж не считаясь со временем, он сказал:

— Вы наверно обратили внимание, что все эти годы заставляли меня в валенках и ермолке, с расстегнутым воротником, непричесанным, со всклокоченной бородой. А сейчас, как видите, на мне приличный костюм, башмаки, шляпа и галстук... Дело в том, что двадцать лет я был занят составлением книги. И вот сейчас она уже готова к печати, и господин Гавхард Гольденталь решил ее издать. Я должен, не теряя ни минуты, идти к нему ввиду того, что близится назначенный им час встречи. Он ждет меня и мою книгу.

Лицо старушки просветлело и она ответила:

— Вы не должны, господин доктор, задерживаться из-за меня. Поспешите же и, ради бога, не опаздывайте, не упускайте благоприятного момента! Такие случаи бывают не каждый день. Нельзя из-за небольшой задержки лишать себя того, к чему вы стремились долгие годы. Хорошо, что случай свел вас с господином Гольденталем. Он человек справедливый и если уж пообещал, то сделает. Я ему тоже многим обязана. Когда я впервые пришла к этим несчастным людям, то они жили в старом, ветхом доме с дырявой крышей и сырыми стенами. В комнатах стояло зловоние, кровати готовы были развалиться, постельные принадлежности насквозь прогнили. И если бы не этот щедрый человек, пожертвовавший деньги на ремонт дома, на покупку новых кроватей и нового постельного белья, не знаю, как бы они жили.

Перечислив все добродетели и славные дела господина Гавхарда Гольденталья, старушка глубоко вздохнула.

— Чем вы так огорчены? — спросил ее Архаил Блаже.

Улыбнувшись, она возразила:

— Я огорчена? Я никогда в жизни не огорчалась.

Крайне удивленный, он возразил:

— Вы, сестрица Эдем, пожалуй, единственная в мире, которая так говорит.

Старушка смутилась:

— Видно, господин доктор, я не совсем точно выразилась. Много, очень много у меня огорчений, но не из-за себя...

Внезапно она густо покраснела и замолчала.

Он посмотрел на нее и сказал:

— Вы не закончили свою мысль, сестрица Эда, вы прервали, пожалуй, на самом интересном месте. Мне бы хотелось знать, что вы еще хотите сказать.

Старушка пробормотала что-то невнятное, но тут же воскликнула:

— А стоит ли?.. Впрочем, что знаем мы о том, что стоит и что не стоит? Я уже стара и стою на краю могилы. Так уж быть, поведаю вам всю правду. Напрасно я похвалялась, что никогда в жизни не знала горестей. Напротив, не было ни одной минуты, когда бы я не испытывала таких огорчений, которым нет конца-края. Иногда мне кажется, что мои горести даже сильнее тех, что испытывают несчастные страдальцы, наказанные судьбой больше всех людей на свете. Всемиловитый бог, накладывая на людей страдания, наделяет их силой, помогающей все это претерпеть. Но тот, кто здоров и не испытывает физических мук, лишен силы противостоять им. И при виде бедных страдальцев, мучимых болезнями, душа его так изнывает, что ему трудно устоять и сохранить самообладание. Тем более мне, на которую возложена забота об этих несчастных. Меня всегда страшит, в полной ли мере выполняю я свой долг, делаю ли все, что надо делать. Здоровому человеку не дано познать до конца душу страждущего. А так как я никуда от них не отлучаюсь, то эти огорчения не оставляют меня ни на минуту... Но я заболталась и забыла, что вы спешите. Я сейчас же ухожу, а вы, доктор, займитесь своими делами, и пусть вам сопутствует удача. Все же жаль этих несчастных, они будут очень огорчены, когда я вернусь без книг.

Вопросительно взглянув на нее, он сказал:

— Разве у них нет больше книг? Неужели они все прочитали?

— По десять, а то и по двадцать раз, — ответила старушка.

— А что это за книги?

— Могу перечислить все до единой, — ответила она.

— Все, все? Ну, это навряд ли.

Она возразила:

— Так как книг у нас мало, а живу я там не один год, то не только каждую книгу, но и каждую вещь я отлично помню.

Когда она перечислила все книги, он сказал:

— Да, маловато, маловато... Могу себе представить, как они радуются каждой новой книге. Однако, — добавил он с улыбкой, — я думаю, что одну или две книги вы, пожалуй, забыли упомянуть. Может быть, даже лучшие из них. Так уж устроен человек, что о главном он забывает. Главное ускользает из памяти... Не так ли, сестрица Эда?

Улыбнувшись в свою очередь, старушка ответила:

— Я не любительница спорить, но, истины ради, должна сказать, что нет там книги, которую я бы не назвала вам, кроме одной, но это потому, что не считала нужным ее упомянуть. Эту книгу вообще невозможно читать.

— Почему так?

— Потому что она насквозь прогнила из-за ветхости и пролитых над ней слез.

— Из-за слез?

— Да, именно из-за слез. Все, кому довелось прочесть эту книгу, горько плакали, ибо в ней говорится об очень печальных вещах.

— О чем именно?

— Точно даже не могу сказать, — ответила старушка. — Все, что мне известно, я уже вам сказала. — Это очень древняя книга, написанная на пергаменте. Говорят, что ей уже тысяча лет, а может быть и больше. Знай я, что она

может вас заинтересовать, я бы могла о ней расспросить и рассказать подробнее. У нас до сих пор живы старики, которые рассказывают, что им в свое время говорили со слезами на глазах люди, жившие до них, те, что знали, о чем написано в книге. Говорят, однако, что и предыдущее поколение стариков, которые жили полвека назад, и то с большим трудом разбирались в этой книге, так как все ее страницы повреждены, буквы расплылись, а книга в целом — это груда заплесневевшей трухи. Ее собирались сжечь еще до того, как я пришла в дом прокаженных. И при мне однажды ее хотели предать огню, но я уговорила не делать этого, — ведь книгу, которую читало несколько поколений, нельзя сжигать, как ветошь, даже если сейчас она непригодна для чтения. Я убеждена, господин доктор, что вещь, сотворенная мастером своего дела, пока она, можно сказать, существует, доставляет ему радость.

Архаил с большим интересом слушал рассказ старушки, и он начал расспрашивать ее дальше:

— Скажите, сестрица Эда, а не слышали ли вы, о чем повествует эта книга? Что говорили об этом старики, которые некогда ее читали? Не припомните ли вы хоть что-нибудь?

— Я слышала, — ответила старушка, — что все страницы ее пергаментные. Что же касается содержания книги, то в ней будто бы говорится об истории большого города, который некогда был разрушен и исчез с лица земли.

— Об истории большого города... который некогда был разрушен и исчез с лица земли? — вслед за ней воскликнул ученый в сильном волнении. — Прошу вас, сестрица, скажите, пожалуйста, а не припомните ли вы, о каком городе шла там речь?

— Да, припоминаю, — сказала она, — город тот звали Гумлидата.

Архаил от волнения стал заикаться.

— В-вы у-ув-верены, что х-хорошо с-слышали?.. Гум... Гум... Гумлидата, так, кажется, вы сказали. Умоляю вас, сестрица Эда, еще раз повторите, пожалуйста, название города. Гумли...?

Она подтвердила, что город тот называется именно Гумлидата, а в книге речь шла об исторических событиях, происшедших в этом городе.

Положив обе руки на стол, Архаил Блаже оперся на них, чтобы не упасть. Заметив, что ему не по себе, старушка поддержала его и, взглянув ему в лицо, спросила:

— Что с вами, доктор? Вам, я вижу, нездоровится. Нехорошо с сердцем, что ли?

Живо поднявшись с места и засмеявшись, Архаил Блаже произнес:

— Ничего, ничего, сестрица, ничего плохого со мной не случилось. Напротив! Вы вселили в меня новую жизнь. Вкратце расскажу вам, в чем тут дело.

— Двадцать лет я изучал историю этого города. Любой клочок бумаги, в котором он упомянут, мне известен, прошел через мои руки. Будь я царем, то мог бы восстановить все здания Гумлидаты в их первоначальном виде и отстроить город таким, каким он был когда-то, до разрушения его готтами. Если желаете, я могу рассказать о всех своих прогулках... да, да, да, о прогулках, которые я совершил по его площадям и рынкам, по его улицам и переулкам, по его дворцам и храмам... О, дорогая сестрица, у меня порой даже голова кружится от этих прогулок! И как город был разрушен, мне тоже известно. Я могу назвать по имени все воинские отряды, которые участвовали в осаде и боях. Я знаю, сколько было убито, сколько погибло от голода и жажды и сколько жизней унесли эпидемии. Все мне известно, кроме одного: с какой стороны вошли отряды доблестного Козлесвинда: со стороны ли большого моста, который называют Мостом Героев, или же они совершили

обходный маневр и нагрянули со стороны долины Афродиты, она же Долина Журавлей. Множественное число от слова "журавль" на языке жителей Гумлидаты будет "вертопрахен", а не "воронен" или "каштанен", или "калошен", как думают некоторые лингвисты, вроде господина профессора Имярек, или господина профессора Имябред, или действительного тайного советника профессора Имябрех и других профессоров, портреты которых вы, может быть, видели в иллюстрированных изданиях, — там они засняты в торжественный момент вручения им высших наград и знаков отличий. Так вот, да будет вам известно, что все, все они ошибались, что в действительности "ворон" на их языке будет "рыбопах", а во множественном числе — "рыбопахен", так как буквы "б" и "п", сочетаясь в одном слове, в их языке меняются местами. А как перевести на их язык "каштаны" и "калоши", я не знаю. Вот этого я действительно не знаю...

Внезапно он изменился в лице, и даже голос его стал другим, рот искривила гримаса, и он затрясся от хохота. Потом у него задрожали колени и странно зашевелились губы: с них слетали какие-то нечленораздельные звуки. Наконец, он произнес:

— Я удивляюсь вам, сестрица Эда. Вы ведь женщина умная, рассудительная, осторожная в выражениях. Как вы могли сказать такую вещь, которая не лезет ни в какие ворота? Как вы могли утверждать, что видели своими глазами летопись Гумлидаты? Ведь этот город был разрушен еще при первом нашествии готтов? А вы уверяете, что эта книга находится у вас, в колонии, и ваши старики ее читали. Скажите на милость, уважаемая сестрица, как связать эти слова с тем, что есть на самом деле? Как древняя рукопись могла очутиться в таком доме?... В доме, где живут ваши подопечные? Как... Каким образом?... Простите меня, дорогая Эда, но это более, чем сомнительно. Это просто какой-то

нелепый слух. "Немой сказал, что слепой видел, как безрукий схватил"... Или, может быть, вы спутали Гумлидату с... я даже не представляю себе, с чем вы могли ее спутать. Что вы слышали об этой рукописи? Как она попала в колонию прокаженных? Вы возбудили, дорогая сестрица, мое любопытство: вы сделали меня жаждущим все узнать, до всего докопаться и проникнуть в суть вещей, наподобие этих самых... психоаналитиков. И пусть вас это не удивляет, пожалуйста. Человек, написавший книгу, жаждет узнать, что по этому поводу написано другими. А если вы спросите: "Разве мало у вас собственных книг?", — то скажу вам по секрету, что все книги, заполняющие мой шкаф, вовсе не предназначены для чтения. Они здесь... для красоты. Если уж хотите знать всю правду, то скажу вам, что они как бы выполняют роль стражников. Да, да... они ограждают мой покой. Заглядывая в эти книги, люди о них и говорят, и я не должен рассказывать им о том, над чем работаю... и выслушивать их мнения... Расскажите, ради бога, как все же рукопись Гумлидаты попала в дом прокаженных?

Сестрица Эда Эдем ответила:

— Сама я этой книгой не интересовалась, а с тех пор, как ее перестали читать, даже о ней и не думала. Вообще-то я почти не имею дела с книгами, а если я пришла к вам за литературой, то вовсе не для себя, а для тех несчастных, с которыми я живу, чтобы уменьшить их страдания: ведь чтение книг приглушает боль. Что же касается этих пергаментных листов, то сорок лет назад, когда они впервые попались мне на глаза, я, признаться, очень удивилась. Впрочем, все молоденькие сестры милосердия, впервые попадая в больницу, ко всему с любопытством приглядываются. Заметив, что меня эта книга заинтересовала, один почтенный старец рассказал мне то, что в дни молодости слышал о ней от старших. И я даже припоминаю, что он мне говорил. Если мне не изменяет моя старческая память, то

вот примерно его рассказ. С вашего разрешения я только присяду...

Архаил Блаже схватился за сердце и испуганно воскликнул:

— Боже милостивый, где были мои глаза! Я даже не заметил, что вы стоите! Садитесь, пожалуйста, прошу вас! Вот на этот стул, нет, нет, вот на этот. Он из всех моих колченогих стульев самый надежный. Садитесь и рассказывайте. Как я жалею о каждом сказанном мною слове, — ведь этим я мешал вам говорить... Вместо того, чтобы внимательно слушать, я без удержу болтал. Очень прошу вас, дорогая сестрица, садитесь и рассказывайте.

Присев на стул, который подал Архаил, старушка подобрала края своего платья, сложила руки на груди, тяжело вздохнула и начала:

— Вот, примерно, о чем там говорится. После того, как отряды готтов овладели великим и славным городом Гумлидатой, они взяли в плен страшного тирана, князя этого города графа Неганьона Бульканьона Дустана из дома Сулемана, когда тот пытался удрать. Он горько рыдал и умолял сохранить ему голову, обещая быть верным рабом их правителя Алариха. Они сохранили ему голову вместе с туловищем, кожей, ногтями и волосами и захватили его с собой. А при нем была книга, в которой была записана история Гумлидаты и ее тиранов, и читал он ее Алариху. Аларих любил слушать историю бывшего величия Гумлидаты. Но случилось так, что пленный князь тяжело заболел. Готты бросили его на дороге и сами ушли. После них на поле брани появились прокаженные, искавшие остатки пищи и одежды. Натолкнувшись на больного, они сжалились над ним, освободили его от цепей и лечили, пока он не выздоровел. Узнав, к кому он попал, князь начал плакать и рыдать, приговаривая: "Лучше бы я умер", ибо в те времена считали, что прокаженный подобен мертвецу, и всякого, кто к ним

прикасался, принимали за прокаженного. Его спасители утешали князя, как могли. Они говорили: "Имей в виду, если ты еще раз попадешься в руки готтов или их приспешников, они тебя убьют. Не лучшая участь быть растерзанным дикими зверьми, которые целыми стаями бродят в окрестностях. Зато живя среди нас, ты в полной безопасности. Можешь не бояться ни людей, ни хищников, и, к тому еще, ты не должен заботиться о своем пропитании".

Доставив его в свой лагерь, они вручили ему колотушку. Заслышав приближение человека, он должен был бить в нее, предостерегая всех от встречи с собой. На шею ему повесили корзинку, куда сердобольные люди бросали хлеб и другую пищу. И так он жил среди прокаженных и ел то, что они ели, и пил то, что они пили.

Убедившись, что к нему хорошо относятся, он сам был с ними добр и приветлив, читал им свою книгу и в долгие зимние ночи развлекал их рассказами о жизни великой и многолюдной Гумлидаты и повествованиями о славных делах предков тирана, которые были именитыми и знатными людьми и правили Гумлидатой и всей областью.

Но время шло и князь умер. Умерли и те, кто его приютил. Таким образом, кроме книги ничего не осталось от тех далеких времен. Люди живут и умирают, а их вещи остаются и продолжают существовать. Место умерших заняли живые, судьба которых была не лучше участи их предков. Живые находили эту книгу и проливали над ней слезы, как и их предшественники.

Одно поколение сменяло другое, и мир начал понемногу меняться. Люди начали больше сочувствовать страданиям отверженных. Мало того, что они так жестоко наказаны богом, их гонят за пределы городов в леса и пустыни. Там они скитаются в поисках пропитания, а зимой, когда все запасы иссякают, нередко гибнут от голода. Нашлись великодушные люди, которые собрали деньги и построили

специальный дом для прокаженных — лепрозорий, обеспечив их всем необходимым.

Такова вкратце история того дома, где я живу в качестве сестры милосердия, и история сохранившейся там книги. Не думаю, господин доктор, что есть на свете человек, который знал бы о ней больше меня. Однако, господин доктор, поспешите и поторопитесь, чтобы, не дай бог, не опоздать к назначенному часу.

Архаил ответил:

— Нет, я не опоздаю к назначенному часу. Более того, мое время только сейчас и начинается... Вы посидите, а я быстро соберу все книги, и мы с вами принесем их добрым людям, с которыми вы живете. Посидите немного и... забудьте о моей книге! Моя книга уже приучена к тому, чтобы ждать...

Подойдя к книжным шкафам, Архаил стал отбирать книги. Получилась солидная груда. Разделив ее на пачки и перевязав, он снова стал рыться в шкафах, время от времени приговаривая: "Вот это они прочтут с удовольствием! Это им понравится!" Он внимательно разглядывал каждую книгу, решая, стоит ли ее прихватить с собой. Все больше находил он книг, достойных внимания, и если бы не старушка, которая все время твердила: "Довольно! Хватит!" — он, вероятно, отдал бы ей все свои книги со шкафами впридачу.

Закончив отбор книг, он сказал:

— Возьмите, пожалуйста, вот эту пачку, а я возьму остальное, и мы принесем их вашим подопечным. Что же касается господина... как его там? Ах, да, господина Гольденталера... Гавхарда Гольденталья, о котором вы беспокоились, что он меня ждет, то я полагаю, что он уже нашел для себя другое занятие... А теперь, милая Эда Эдем, поспешим, пока не зашло солнце. Вы откроете передо мной ворота в рай — введете в ваш дом и покажете мне эту книгу, о которой говорили. Что с вами, сестрица? Почему вы

изменились в лице? Вы, может быть, опасаетесь, что мне не разрешат войти? Клянусь вам могилой моей матери, что если мне не разрешат, я растянусь у порога этого дома и не двинусь с места, пока меня туда не впустят. Вы опечалены? Вы беспокоитесь? Я вам доставил огорчение? Если вы из-за меня расстраиваетесь, то это ни к чему. Это самый прекрасный день в моей жизни. И то, что вы мне поведали, самый прекрасный рассказ из всех, которые я когда-либо слышал со дня... со дня... Я немного растерян и не помню, с какого именно дня. Смотрите, смотрите, оно уже заходит! Это я говорю о солнце. Солнце при закате еще прекраснее, чем при восходе. Двадцать лет надо было провести под сенью книг, в храме мудрости, чтобы наконец понять и выразить вслух эту простую истину.

## 3

Они оба вышли за пределы города. Шагая рядом, Архаилу пришлось умерить свой пыл, а ей прибавить шагу. Он без умолку болтал, а она время от времени вставляла слово, и было оно подобно вздоху.

Каждый, кто попадался им навстречу, узнавал Эду Эдем, старался обойти ее стороной, да и она сама пыталась держаться подальше от людей, дабы не пугать их. Архаил, однако, не замечал, что все шарахаются в сторону и от него самого, все его избегают.

Внезапно остановившись, он спросил у своей спутницы:

— Вы не помните, я закрыл двери своего дома?

Архаил Блаже положил на землю тюк с книгами и тут только заметил, что ключ у него в руках. Он засмеялся:

— У меня в руке вместе с пачкой книг был ключ, а я этого не замечал. Вот так память... Никуда это не годится! Тише! — прикрикнул он на себя. В своих мечтах Архаил уже видел, как сидит и читает таинственную книгу о Гумлидате, и

слова, которые сейчас срывались с его губ, лишь рассеивали внимание, отвлекая от чтения. Вожденная книга начисто затмила в его памяти собственный труд, которому он посвятил двадцать лет жизни, и того господина, который хотел его опубликовать.

Спустя час, они стояли уже у лепрозория. Не могу точно сказать, в какие ворота он вошел, и сколько времени потратил на то, чтобы получить разрешение туда войти. Знаю лишь, что много сложнее обстояло дело с самой книгой, все страницы которой были покрыты струпьями, так что даже прокаженные брезгливо сторонились ее и не прикасались к ней. Но так как все подробности мне неизвестны, а говорить предположительно я не люблю, оставим в стороне сомнительные моменты и расскажем только о достоверном.

Итак, Архаил, придя в эту обитель скорби, в конце концов добился разрешения проникнуть во внутрь. Когда он туда вошел, на него напялили специальный халат, который покрывал его всего, с головы до пят, и, вынув из тайника заветную книгу, положили ее перед ним со словами:

— Осторожно! И не вздумайте только к ней прикасаться!

Он смотрел на эту книгу до тех пор, пока глаза его не расширились настолько, что заняли почти половину лица. Долго и неподвижно сидел он, вперив свой взор в книгу, затем внезапно сорвался с места и хотел было открыть ее, как вдруг почувствовал, что кто-то крепко держит его за локти.

— Погоди! — услышал он в это мгновение.

То были служители лепрозория. Они надели ему на руки перчатки и завязали их хитрым узлом, чтобы они не соскользнули с пальцев, и строго-настрого запретили прикасаться к книге без перчаток. И снова и снова его предупреждали и предостерегали: говорили, как были наказаны легкомысленные люди, которые пренебрегли предосторожностями; рассказывали всякие были-небылицы с целью

напугать его, дабы он не относился легкомысленно к страшной болезни. Но я не знаю, слушал он их или не слушал. А вот то, что глаза Архаила увеличились настолько, что заняли все лицо и даже вышли за его пределы, — это мне доподлинно известно.

Убедившись, что от него никак не отделаться, ему отвели место в саду при доме прокаженных (этот сад назывался Эдемским, в честь сестрицы Эдем), принесли туда стул, стол и приставили к нему специального служителя. И сидел за этим столом Архаил Блаже, углубляясь в каждую букву, в каждое слово, в каждую строку, в каждый абзац, в каждую страницу, а служитель, стоя рядом с ним, листал книгу. Служитель был приставлен потому, что администрация опасалась, что одержимый ученый не будет соблюдать все правила предосторожности, — ведь книга была насквозь пропитана проказой от прикосновения множества рук больных, которые ею пользовались. Казалось, что самый текст написан не на пергаменте, а на коже прокаженных, и буквы выведены не чернилами, а гноем.

Что еще можно к этому прибавить?

После того, как Архаил тщательно изучил все уцелевшие буквы и даже все стертые слова, он нашел то, над чем тщетно бился долгие годы, а именно — с какой стороны наступали на Гумлидату передовые отряды готтов, и как им удалось захватить город. Ведь Гумлидата была окружена высокой каменной стеной и укреплена со всех сторон. Кроме того, ее окружали заросли, болотца, плетни, бугры, холмы, ямы... То, над чем Архаил безрезультатно трудился многие годы, решилось быстро и без особых трудностей. И ради вас и всего дома Израилева\* я расскажу, о чем поведали ему мертвые буквы. Расскажу очень коротко, хотя в книге об этом говорится подробно и обстоятельно.

---

\*Здесь автор пародирует стих из широко известной молитвы "Кадиш", которую произносят, поминая покойника.

Речь идет о раздорах, в которые была втянута девушка родом из гуннов по имени Камса или Хамса. Выехав на ослике из лагеря гуннов (приспешников готтов), с намерением совершить небольшую прогулку, Хамса достигла высеченной в скале ямы (в ней давили виноград), которая находилась в пригороде Гумлидаты. Здесь ее схватили стражники и привели в город. И увидели ее слуги Слюнтана, то есть престарелого графа Негоньона Бульканьона Дустана из дома Сулемана, деда молодого графа Негоньона Бульканьона Дустана Сулемана, и привели ее к своему господину. Но Хамса его люто возненавидела из-за того, что он храпел и кряхтел во сне, а также потому, что ей предложили спать в мягкой постели, на пуховых перинах. Она не выносила ни его изысканных манер, ни его запаха. Ей был противен весь этот город с его святынями. И в один прекрасный день она удрала. Однако ее поймали и вернули графу. Она снова удрала и снова была поймана. Так повторялось несколько раз — она убегала, но каждый раз ее ловили и возвращали обратно.

Увидев, что побеги ни к чему не приводят, она покори-лась и стала думать, как бы отомстить жителям Гумлидаты.

В это самое время полчища готтов обрушились на город. В Гумлидате начались тревожные дни, ибо жители ее хорошо знали, что всюду, где появляются готты, они убивают, сжигают, разрушают, и Гумлидате уготована та же участь. Поняв, что город обречен, Слюнтан захандрил и впал в меланхолию. И если бы не маленькая Хамса, внезапно изменившая к нему свое отношение и обнаружившая такие тайные чары в искусстве любви, о которых он ранее и не подозревал, никогда не испытыв их ни с одной девушкой и ни с одним юношей, то Слюнтан, несомненно, умер бы с горя еще до того, как был бы обезглавлен готтами.

Когда стражи увидели, как пылка и ласкова Хамса со Слюнтаном, они ослабили свой надзор за ней, и уже не шли

по ее пятам, как раньше. Убедившись, что за ней почти не следят, Хамса стала везде бывать и всюду показываться. Она стала появляться даже у городской стены возле Долины Журавлей, куда никто не ходил, опасаясь обвала, ибо во время землетрясения стена эта изрядно пострадала, кирпичная кладка была сильно расшатана и еле держалась, что весьма огорчало жителей города.

В ту пору Хамса была единственным утешением Слюн-тана, спасала его от хандры и меланхолии. Из страстной к ней любви он подарил ей драгоценный нагрудник, какие тогда носили лишь самые знатные дамы. Украшение это состояло из лент, тесемок и петель, в совокупности воспроизводивших очертания Долины Журавлей.

Однажды, находясь в садике, разбитом возле дома Слюн-тана, Хамса играла с осликом, принадлежавшим к числу тех благородных животных, что были вскормлены женским молоком. В Гумлидате и ее окрестностях существовал древний, освященный временем обычай: если женщина беременела неведомо от кого, ей давали возможность родить, а уж затем родня забирала новорожденного и уходила с ним в лес в поисках зверей, у которых родились щенки. Положив новорожденного перед лесным зверем, они завладевали его детенышем и отдавали его женщине, дабы она вскормила его своей грудью. Если же не находилось лесного зверя, то его заменяли домашним животным. В отношении знатных женщин обычай этот был еще более суровым. Если такая дама рожала ребенка и отец его был неизвестен, то ребенка убивали, а матери приносили звереныша. Считалось, что дамы благородного происхождения не имеют права вскармливать грудью детей простых смертных. Их благородная кровь не должна смешиваться с кровью простолюдинов.

Итак, Хамса играла с осликом, ибо ее с детства приучили к общению со зверьми и животными, благо отец ее, паяц Карбункул, занимался дрессировкой медведей, учил их

плясать. Увидел дикий осленок-онагр, как Хамса забавляется с домашним осликом, и вдруг воспылал ревностью. Он заревел, будто его режут. Услышав этот рев, Хамса, засмеявшись, сказала:

— Осел остается ослом, даже если он вскормлен грудью княгини. И тогда он ревет по-ослиному... Чего тебе надо? Может быть, ты хочешь получить мой нагрудник? Давай, я напялю тебе его на глотку на веки вечные. Такого украшения не носила даже твоя знатная кормилица.

Ослик подошел к ней, и она сняла с себя нагрудник и повязала его на шею онагра, заставив животное в знак благодарности склонить свою морду, как это делали все приближенные правителя, когда получали от него подарки.

Внезапно Хамсу охватила печаль. Она вспомнила свои горести, вспомнила, что живет в изгнании, вдали от вольного стана своих братьев и сестер. Все они свободные люди, которым неведомы ни стены, ни ограды, ни врата, ни запоры. Хамса воспылала гневом и захотела излить его на онагра, который напомнил ей о ее злоключениях. Особенно разозлило Хамсу то, что он, осел, и то лучше и благороднее ее: ведь даже после того, как она надела ему на шею нагрудник, он все еще продолжал реветь... Хамса схватила его за уши, собираясь поколотить. Но тут перед ее глазами встали ленты, тесьмы и петли драгоценного украшения с очертаниями Долины Журавлей. И сердце ее так сильно забилося, что она невольно прижала к нему руку, дабы заглушить рвущийся оттуда крик и не выдать таившихся в нем замыслов.

Изобразив на лице радостную улыбку, Хамса повела онагра к Долине Журавлей, что у городской стены, к тому месту, где была чуть заделанная брешь, образовавшаяся еще во времена землетрясения. Расчистив и расширив пролом, она пропустила через него ослика, украшенного драгоценным нагрудником.

Очутившись за стеной, ослик пустился бежать в сторону готтов. Увидев это, Хамса возликовала. Сердце ее говорило: когда осаждающие заметят онагра с нагрудником, они сразу поймут, что им дан тайный знак к наступлению со стороны Долины Журавлей.

Глубоко затаив в сердце радость, Хамса вернулась к старому графу и была с ним чрезвычайно ласкова, а также мила и любезна со всеми его приближенными. Ее любовь настолько ослепила правителя и его военачальников, что они почти не обращали внимания на полчища готтов, плотным кольцом окружившие город.

Выйдя за пределы Гумлидаты и почуяв просторы пустыни, онагр заревел от восторга. Он чувствовал себя здесь, как дома. Его громкий рев донесся до лагеря готтов. Заметив дикого осла, украшенного драгоценным нагрудником, они страшно удивились. Раньше никогда ничего подобного им не приходилось видеть. И привели они онагра к своему правителю Козлесвинду. Взглянув на нагрудник, тот спросил своих воинов:

— Есть ли здесь такое место, которое называется Долина Журавлей? И не заслан ли кто-нибудь из наших в Гумлидату?

Узнав об этом, паяц Карбункул приполз на брюхе к шатру Козлесвинда и, чтобы привлечь к себе внимание, он закудаhtал по-петушиному, и промычал, и заблеял, объятый тоской по Хамсе, а в заключение прохрипел:

— Если то не дело рук моей дочери, то я ей не отец. Исчезла эта барсучка, а теперь я вижу, что она там, в Гумлидате.

Обследовав все на месте, воины обнаружили, что стена возле Долины Журавлей полуразрушена, и они проникли через брешь в Гумлидату. Город, по своему обыкновению, они предали огню и в гневе неудержимом истребили многих, не пощади ни грудных детей, ни стариков, ни женщин. И

вызволили они из плена маленькую Хамсу и дали ей в слуги внука старого Слунтана Негоньона Бульканьона Дустана из дома Сулемана (младшего).

Все это было написано на последней странице летописи, в виде добавлений, сделанных рукой писца.

Когда Архаил прочел этот рассказ, из глаз его полились слезы. Как велики заслуги писцов! Даже когда над их шеей занесен острый меч, они не бросают пера, и собственной кровью дописывают для грядущих поколений все, что видели их глаза.

Еще много занятного нашел Архаил Блаже в этой книге. Бесспорно, что были там факты, подтверждавшие его гипотезы и служившие доказательством их верности. С другой стороны, нельзя было отрицать наличия фактов, которые находились в полном противоречии с тем, что он установил. Наш ученый, пожалуй, уж слишком полагался на своих предшественников, хотя подчас ощущал в их словах много неясного и сомнительного. Все лето провозился Архаил с этой книгой, но с наступлением зимних холодов он уже не мог больше работать в саду. И ему предоставили в лепрозории отдельную комнату с печкой и запасом дров.

Он безвыходно сидел в своей комнате, восстанавливая текст, букву за буквой, слово за словом, строку за строкой, пока не получались целые, связные куски. А когда ему попадались отрывки, которые, по его мнению, были интересны для всех, он входил в общий зал, собирал вокруг себя обитателей дома прокаженных и говорил им:

— Братья и друзья! Садитесь поближе, я вам кое-что почитаю. И он читал им о великом и славном городе Гумлидате и о жителях, которые были очень горды и высокомерны, пока не пришли готты и не разбили их в пух и прах. Он рассказывал им также об их богах Чуше, Туше, Жруше, Алкуше и Вруше, о праматерях, их отпрысках, младенцах и отроках, об идолах, больших и малых, и

высоких храмах, об обжорах, садовниках и стражах, блудницах и иеродулах, жрецах, священных собаках и о многом, многом другом.

Иногда он посвящал прокаженных в свои новые исследования и открытия. Их было немало, и некоторые он заносил в особую книгу. Однако этот труд его так и не дошел до нас, так как запрещено выносить какие-либо предметы, а тем более книги и рукописи, за пределы дома прокаженных. Все-таки малая толика из его открытий сохранилась для науки, ибо если настоящий ученый раздобывает какие-то новые крупницы знаний, то будь он как угодно изолирован от людей, кое-что из его открытий все же достанется обществу.

Порой Эда Эдем приносила из его дома научные сборники, которые приходили по его адресу из разных университетов. Читая их, он иногда с изумлением обнаруживал там те же открытия, которые он сам сделал, но в сборниках они были подписаны другими, неизвестными ему именами. Это было поистине непостижимо. То, над чем он так долго и упорно трудился, здесь трактовалось как нечто всем давно известное... "А ежели так, то к чему вся моя работа? — думал он. — Буду довольствоваться тем, что пишут другие".

Но нерасторжим союз, заключенный между учеными и ученостью! Они ее никогда не оставляют. Архаил Блаже говорил: "Зачем мне трудиться?" А ученость к нему привязалась всем сердцем и нашептывала: "Вернись ко мне, дорогой, не покидай меня!" — и он сидел и открывал сокровенные вещи, скрытые от всех ученых мужей его времени, и радовался, что именно ему дано было открыть их. Но так как много есть на свете сокровенного и непознанного, и наука бесконечна и неисчерпаема, а человек все должен изучить, исследовать и понять, то Архаил Блаже так и не оставил своей работы и не прекращал ее ни на один час. Он так и остался жить там навсегда.

## ЛЕВ ХАЛИФ

Лев Халиф, русский поэт, еврей. Родился в России, живет в Москве. Исключен из Союза писателей СССР за "отступления от принципов социалистического реализма", а на деле — за открытую критику анти-демократического, антисемитского режима. В русской печати Израиль публикуется впервые.

Нет, не белая — красная соль  
В крови моего народа.  
И язык,  
Похожий на рокот.  
Нет, не белая — красная соль...  
Обожженный дугами аравийских солнц  
Мой древний род  
Дообжигали  
В освенцимах.  
Глаза миллионов вдов  
Красным  
Отсвечены.  
Глаза,  
они грустные,  
Как погашенный пожар,

Они, как руслами,  
Все впитавшие беды —  
Глаза.  
Дорогого мне дерева листья —  
Мальчики еврейские дрожат...  
Инквизиции,

погромы,  
линчи

В этих глазах.  
Они очень грустные —  
С настороженным блеском,  
В них душа человечья  
Хрустнула —  
В глазах библейских.  
Вы не бойтесь, родные,  
Не дрейфьте,  
Перед вами еще в долгу.  
Вас отныне,  
Как Дрейфуса,  
Уже не оболгут!

Дымок махорочный —  
Синеватые мысли...  
Тело Михозлса  
На дороге минской.  
Застенки,

застенки,

Или ожидание  
Застенок...  
За каждой квартирной стенкой  
Скрипят постели.  
То всех национальностей  
Ворочался страх.  
Страх  
Населял страну.

В лучшей еще вчера  
Из стран  
До утра  
Не заснуть никому.  
И под кремлевскими звездами,  
Что надеждами грели  
Всех, кто уверовал в Маркса —  
Коммунисты и евреи  
Шли осужденные насмерть.

О, История седеющая,  
Что перетянет прежде —  
Над ними ли содеянное,  
Или содеянное ими —  
Предками?  
... Я слышу крик.  
Кого еще ведут карать?  
Какое к черту человеколюбие...  
Кулак,  
Здесь нужен,  
о какой кулак!  
И боже упаси  
Родиться хлюпиком!

**Москва**

# ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ

## ЗЕЕВ ПАЗ

повесть

*Окончание  
(начало "Сион" № 11)*

### ГЛАВА 8

Началось то утро с легкой пробежки.

Вставало тусклое солнце с тяжелым бронзовым отливом, ключьями поднимались молочные пары с Невы, от расколото-го ледоколами фарватера.

Облачение команды составляли кроссовки и шерстяные костюмы с вышитой голубой надписью на груди: "СССР", выдаваемые исключительно членам сборных команд.

Сначала бежали по мягкому, нетоптаному снежку, выпавшему за ночь, потом — через березовую рощу, до моста лейтенанта Шмидта. А возвращались с другой стороны стадионного пруда — километров пять вся пробежка.

Возле берега, под заиндеветой ивой, была выбита в пруду полынья, величиной с баскетбольную площадку. Группа любителей зимнего плавания — мужчины и женщины — босиком бегали по снегу, а после кидались в черную, дымящуюся воду и плавали, фыркая от удовольствия. А мороз стоял градусов под тридцать!

После пробежки и легкой разминки, Зеев Паз принял горячий душ, позавтракал. А вернувшись в номер стадионной гостиницы, завернул в газету свои башмаки и боковым, горбатым мостиком вышел прямо на Васильевский остров.

Повезло ему удивительно быстро. Первый же сапожник, к которому он вошел, оказался евреем. Таким уж выдающим-ся носом обладал дядя Петя!

Зеев Паз с ходу обратился к нему на идиш:

— Возьметесь еврейю подбить каблуки? Подбить до завтра, и не тянуть мне волынку три недели, как это ведется у вас зимой в Ленинграде?!

Дядя Петя снял с носа очки и оглядел с интересом Зеева Паз.

— Эть, какой шустрый еврей! Откуда ты взялся?

Становилось забавно: с его ряшкой бурлацкой, бульж-ными плечами и ростом ну никак не вязался отличный идиш. Зеев Паз все это знал, поэтому любил порой поразить еврея. И будет вопрос: откуда ты, да кто? А он брякнет небрежно: мастер спорта, чемпион такой-то... Так начиналось и сейчас. И Зеев Паз почувствовал, что будет веселенькая сцена, когда он все это выдаст.

Дядя Петя кончил изучать все, что ему было положено: ряшку, рост, плечи и углубился в работу.

— Из Ташкента! — сказал Зеев Паз.

Лицо сапожника сделалось кислым, он заметил брезгливо:

— Наконец я вижу еврея из Ташкента! Правильно говорят: кто живет, тот до всего доживает. В войну, стало быть, в Ташкенте прятались, за Ташкент воевали?

У Зеева Пазы от возмущения даже дыхание остановилось: наглости такой он еще не встречал! Уж этого сопле-меннику он простить никак не мог.

— Полегче, любезный, полегче! Вы что, пережили блока-ду в этом городе? Хронический дистрофик? Подагра у вас,

ревматизм, цинга? Вы пережили здесь голод и морозы, схоронили детей и близких? Копали окопы по гнилым карельским болотам? О, да зачем же так мрачно? Вы же герой войны, Герой Советского Союза...

— Да! — воскликнул сапожник. — Именно так, как ты и сказал: Герой Советского Союза!

Зеев Паз совершенно вскипел:

— Перестаньте, дядя, трепаться! И вообще — успокойтесь, успокойтесь! Знали бы, кто я такой — мигом бы извинились!

Тогда сапожник отложил инструмент, встал, распустил у себя сзади тесемки фартука и убил Зеева Пазу.

Нет, такого еще не бывало — впервые при встрече с живым соплеменником Зеев Паз был сам сражен наповал. Там, за фартуком, сверкала самая настоящая Золотая звезда боевого героя.

С Зеевом Пазом все было кончено: номер сапожника был высшего класса, похлеще идиша, булыжных плеч и всякого чемпионства! Артист высшего класса, ничего не скажешь: так ловко довел он его до бешенства, до белого каления, и — бенц! Звезда героя! Купил, точно последнего простака. Купил и убил.

Кончался же номер тоже внушительно.

— Честь имею! — шелкнул он каблуками и взял под козырек. — Майор Петр Волков, Пиня Зямович Волков! Можешь просто звать меня дядя Петя. Так что ты делаешь в Ленинграде, такой молодой и заносчивый еврей?

Зеев Паз сошел с высокого пьедестала чемпиона страны, и ступил на землю, сразу ощутив непонятную тоску на душе. Там, в облаках, уже нечего было делать против Золотой звезды дяди Пети. Но спасти кое-что он еще мог. Ведь, кроме всего прочего, за ним числилось высшее образование и интеллект.

— Я журналист, дядя Петя.

Тот снова углубился в работу. Ответ Зеева Паз не вызвал в нем никакого удивления. Дядя Петя вел его сейчас ко второму убийству, потому что кроме, Золотой звезды у него было и еще что-то в запасе. Короче, он бил Зеева Паз по всем статьям.

— Какое глупое, легкомысленное занятие для еврея! — Потом спросил: — И ты что-нибудь законченный?

На идиш это прозвучало "агикончистер". В другой бы раз Зеев расхохотался бы еврею в глаза над этим словом, но сейчас ему было не до смеха. Он мялся с ноги на ногу, скис, чувствуя неодолимое желание уйти вон из мастерской.

— "Агикончистер" филологический факультет. Я могу написать в газету о вашей жизни и ваших подвигах, дядя Петя.

— Теперь я вижу, что ты и не особенный умник, — сказал тот. — Ты погоришь на этой затее, а у меня отобьешь "парнасу". Я — вор, ворую у этой страны, которая имеет меня за героя с зимы сорок третьего года. Когда ты увидишь мой дом, что я пью и кушаю — эту роскошь, в которой живет дядя Петя, — ты тут же поймешь, что обо мне ничего не надо писать. Молчать, и все!.. А сейчас передай сюда свою обувь, и я обещаю не тянуть с ней волынку!

Дядя Петя вытащил из газеты его ботинки, долго вертел их перед глазами, тщательно изучая. Затем извлек из-под верстака большую лупу, здоровенную лупу кабинетного ученого и пошел следить ею по линиям и трещинам на башмаке Зеева Паз. И вдруг стал читать оттуда вслух, как хиромант читал бы по руке клиента.

— Ты много вешишь, но душа у тебя пустая и легкая, — начал он тихим, бессовестным голосом. — Такого солдата я никогда не взял бы с собой в разведку. В самый решительный момент в тебе что-то ломается, кто угодно может иметь сильнейшее влияние на ход твоих мыслей и поступков. Как слепца или собаку тебя должен вести по жизни поводырь!..

Какой несчастный еврей, какую жалость он вызывает!.. Посмотрим теперь союшку, твое прошлое. Вот я вижу сиротский приют! Ты вырос в сиротском приюте и получил сомнительное воспитание. Вернее — никакого воспитания толком! А вот ремесленное училище, филологический факультет... А вот написано и происхождение твоих плеч и этой сутулости профессиональной...

Осененный простой догадкой, Зеев Паз вышел из первого шока, полученного им от этой неслыханной хиромантии.

— Блефуете, дядя Петя! Вы держите меня за круглого идиота! Вы вычитали все это из газет, вы узнали меня по газетам!

Дядя Петя освободил свой нос от очков. Глаза его выражали неподдельную грусть.

— Еврей Володя, — сказал он. — Я никогда не читаю газет и не слушаю радио. Я могу читать с обуви моих клиентов даже последние известия.

И снова приложился лупой к его башмаку. Номер выходил жутковатый, дело пошло всерьез.

— Я прошу у тебя прощения, Володя, я зря нападал на тебя за Ташкент. Я увидел сейчас трагический конец твоих родителей. Они никогда не приезжали в Ташкент, а были отправлены в концлагерь. Они ушли в концлагерь, а как и где погибли — на это нет и намека. Смотри сюда, линия предков и родителей всегда читается здесь, на рантах у носков...

— Концлагерь Транснистр, — подсказал Зеев Паз. -- Они успели отдать меня, когда я был в пеленках, молдаванам через проволоку!

Об этом уже не писала никогда и никакая газета. Печалью и состраданием исполнилось лицо дяди Пети, а в душу Зеева Паз вошла жалость к сиротской своей судьбе. Казалось, сам воздух в этой маленькой мастерской заразился печалью.

— В зиму сорок третьего года, — сказал дядя Петя, — этот

маленький, невзрачный еврей, который сидит напротив тебя, спас от гибели весь Сталинградский фронт. Да, представь себе, такой я был дерзкий, отчаянный хлопец! И вот я вас спрашиваю: неужели же в эту зиму я не смогу спасти всего-навсего одного молодого еврея, который до сих пор не прибил к хорошему берегу? Спасти одного человека, говорится в наших книгах, это то же самое, что спасти весь мир... Так я же имею шанс заработать еще одну Золотую звезду?! Как ты думаешь, Володя, на том свете выдают звезды?

Дядя Петя не спешил отделаться от клиента, он явно куда-то клонил. И Зеев Паз улыбнулся. Ушла непонятная зависть к Золотой звезде соплеменника, перестал он топтаться, точно баран, а привалился грудью к стойке и улыбнулся на вопрос о наградах на том свете.

— Давай попробуем так: я сведу тебя с Юзей, племянницей?! Сведу с Юзей, и ты войдешь в дом, где водятся свежайшая осетрина, золотистый усач и копченый балык. Тебя усадят за стол, где принято кушать красную икру столовыми ложками. Да, столовыми ложками из большой фарфоровой миски, потому что Митя Волков, мой младший брат, состоит директором крупнейшей рыбной базы в этом городе. Ну, а дальше... Дальше сама судьба нам подскажет. Может, именно тебя дожидается пустая трехкомнатная квартира на Марсовом поле, которую надо заставить мебелью по прихоти последней моды и вашего собственного вкуса. И там, в тепле и достатке, о котором может мечтать сам Лев Толстой, ты возьмешься сочинять свои рассказы о подвигах. О чьих угодно подвигах, но только не моих и Митиных. Скажу больше! Садись со мной за верстак, и ты потрясешь мир. Самый разбитый туфель, самый гнилой чувак — неповторимый шедевр, сиди и строчи романы! Я начитаю тебе такое с моих клиентов, что трех Нобелевских премий будет мало за это!

Дядя Петя оделся и запер свое заведение.

На входе он повесил картонку "пошел на обед", но в этот день в мастерскую уже не вернулся.

Он решил пойти на стадион и посмотреть полуденную тренировку: как готовится к ответственному международному матчу сборная команда страны.

На стадионе они сдали свои пальто в гардероб. Со сверкающей Золотой звездой на груди дядя Петя был представлен тренерам, как человек, спасший от гибели Сталинградский фронт, а значит — и изменивший весь ход Второй мировой войны.

Дядю Петю провели на галерку, посадили над рингом, где сидят, обычно, пресса и почетные гости.

Сидел дядя Петя один, на пустой галерке, поедая ринг жадными глазами, а внизу полтора десятка парней прыгали на скакалках, обрабатывали мешки и груши, после надели боевые перчатки и взялись за настоящую работу, каждый раунд меняясь спарринг-партнерами.

Зеев же Паэз иступленно соображал, какой же дать ответ этому человеку, час назад предложившему ему новые берега судьбы и измену?

"Етит твою в Юзю мать! — возмущался он, войдя в клинч и обрабатывая с обеих рук корпус Толика Тараненко, оренбургского средневеса. Свежайшая осетрина! Красная икра столовыми ложками! Квартира на Марсовом поле! Да знаете ли вы, что подарила мне Анка в ту ночь на Ланжероне? Взяла меня за руки, вошли мы в волну, ласкавшую наши тела, и... И я испытал такое, чего не испытал еще ни один мужчина со дня сотворения мира... Едит твою в дяди Пети племянницу! Да если вы разворуете хоть всю енисейскую осетрину, всех усачей Аральского моря, вам никогда не купить меня, слышите?! С той ночи на Ланжероне мы связаны с ней навеки! Какая там к черту Юзя?! Клянусь все той же клятвой своей, что непременно привезу Анку к

хирургу Юлию Мозесу, и это для меня важнее всего на свете! И где-нибудь под Натанией, на таком же пустынном пляже, мы будем с ней много раз входить в родную волну Средиземного моря, и будут у нас свои усахи и своя осетрина. Все, что душа пожелает — будет!”

К концу тренировки дядя Петя неузнаваемо изменился.

Два часа поднимались к галерке горячие испарения мускулистых тел лучших боксеров страны. Надышавшись волнующими кровь испарениями, дядя Петя превратился в дерзкого, отчаянного хлопца зимы сорок третьего года и ни за что не пожелал вернуться за свой грязный верстак на Васильевском острове.

Сначала он повез Зеева Пазу в ресторан ”Астория” и заказал там роскошный обед. В отдельной кабине с парчовыми занавесями, с тончайшими кавказскими винами.

Потом они вышли на Невский проспект и поднялись к Центральному универмагу. Здесь дядя Петя купил ему новые ботинки на белом меху, черный костюм, пальто-реглан с заячьим воротником, теплые кожаные перчатки, шапку-ушанку ”пыжик”, фетровую шляпу, три смены белья, дюжину различных сорочек, коробку носовых платков, нейлоновый плащ ”болонья”, пачку различных носков, импортный портфель коричневой кожи с блестящими медными застежками, и, наконец, зонтик — совсем непонятно зачем.

И всю эту гору было приказано увязать в один пакет, отослать в стадионную гостиницу.

Как ни странно, Зеев Паз не высказал никакого удивления. Подобная щедрость должна была поразить его, воспитанника бедного сиротского приюта на окраине Ташкента, выпускника ремесленного училища, а ныне — прописанного в крохотной комнатке на стадионе ”Динамо”, в далекой Молдавии.

Но — нет! Ведь если внимательно разобраться, это давно

ему причиталось: чемпионом страны он сделался исключительно во славу еврейского народа, и этот народ до сих пор ничем его не отблагодарил. До сих пор евреи оставались преступно равнодушны к подвигам своего национального героя. Но рано или поздно — и Зеев Паз в это очень верил — они должны были опомниться. Евреям полагалось приготовить ему трехкомнатную квартиру с постоянной пропиской в Москве или Ленинграде, полагалось прибить его к хорошему берегу.

Где они были, все эти богатые евреи, когда стоял Зеев Паз в углу, один на один с чудовищем Товмасыном? Ни одного из них не было на трибунах дворца спорта! Зато вопила там целая куча армян, приехавших из Еревана двенадцатью специальными самолетами.

Из всех евреев пришел к нему лишь худенький мальчик, по виду совсем еще ребенок...

★ ★

★

Дней через десять после знакомства с дядей Петей, Зеев Паз уезжал в Кохла-Ярве на матч со сборной командой Эстонии, что-то наподобие тренировочных боев для приобретения лучшей формы. Словом, подготовка к ответственному международному турниру в Польше, не более того.

Оба брата Волковы, дядя Петя и дядя Митя, а также умная девушка Юзя, все трое сразу вызвались ехать вместе с ним.

Зеев Паз сначала пытался разубедить их: ничего интересного не будет в этом зачуханном шахтерском городке. Большого бокса они не увидят, а только скучную возню "в одни ворота"!... Увы, куда там, они и слушать его не стали!

Им непременно хотелось присутствовать в зале, болеть у ринга, чтоб больше никогда Зеев не томился от одиночества, а ощущал бы всегда и везде тепло и соучастие родного народа.

Дядя Митя обнаружил значительный талант и умение обращаться с национальным героем. Едва Зеев Паз был введен в их дом, как тот принялся устраивать все наилучшим образом, легко расставаясь с бешеными деньгами.

Дядя Митя зафрахтовал до Кохла-Ярве и обратно специальное такси. Зеев Паз ехал на матч в отдельной машине, а не в автобусе со всей командой, тренерами и массажистами и испытывал тайное удовлетворение.

Там, в автобусе, ехал сейчас впереди Анвар Икрамов, национальный герой узбекского народа, имевший дома собственную новую "Волгу", — скромный подарок от своего народа и правительства. Ехал Гога Думбадзе, национальный герой грузинского народа: в городе Сочи, на берегу Черного моря стояла у Гоги двухэтажная вилла — тоже скромный подарок от правительства и народа. Потом — Толик Тараненко, получавший в Оренбурге на каком-то военном заводе колоссальные деньги: числился там инженером, а сам не знал и таблицы умножения. А вдобавок — владел усадьбой и яблочным садом в полгектара. Короче говоря, полный автобус национальных героев, которым Зеев Паз начинал утирать нос.

Сидя в просторном такси, между Юзей и дядей Митей, он предавался тягостным воспоминаниям. Кем он был до сих пор в сборной? Точно овца приبلудная, точно пасынок! Служил предметом насмешек и издевательств! И в самом деле: молдавский народ, за который он дрался, вовсе не считал его своим представителем. Ни народ, ни правительство молдавское... Зарплата чемпиона была девяносто рублей — он едва сводил концы с концами. К тому же "пахал" за нее в тяжелом поту: в качестве тренера на стадионе "Динамо".

Один лишь молдаванин вроде бы признавал заслуги Зеева Пазы — автор крамольных сказок, безумец и алкоголик Вадим.

Но все это уходило в прошлое, в небытие, как уходит дурной сон. Зеев Паз обрел, наконец, материнское лоно своего милосердного народа, и, судя по началу, этот народ обещал ему устроить замечательную судьбу.

\*   \*   \*

\*

Страшно подумать, какие страдания достались бы на долю Зеева Пазы, если бы это такси не дожидалось их возле фойе клуба, где проходил матч. В Кохла-Ярве не оказалось ни госпиталя, ни больницы, а помощь требовалась самая срочная и совершенная.

Разрезая белый мрак начавшейся вьюги, беспрерывно сигналив встречному транспорту, такси летело в Ленинград на предельной скорости.

Чудовищно распухало горло, раздробленная челюсть была подвязана шарфом. От тряски и скорой езды челюсть колотилась о верхние зубы, отчего сознание погружалось в хаос боли и ужаса.

”Господи! Какой жуткий проигрыш! Какой позорный проигрыш никому неизвестному, затруханному эстонцу!”

К чертовой матери под хвост летело теперь участие в международном турнире, заманчивая поездка в Варшаву... И вообще само его членство в сборной: самое меньшее он выбывал из бокса на целый год!

Насмерть перепуганные Юзя и дядя Митя не знали, чем бы его утешить. И слышалось ему на самом краешке тускло мерцающего сознания:

— Успокойся, сынок, все еще будет у нас хорошо. Я говорю тебе это, как отец. Теперь ты можешь называть меня "папа"... Сколько раз меня настигало несчастье, однако ни разу — ты слышишь меня? — ни разу я не впадал в отчаяние. А жил всегда в вере и доброй надежде...

Стояла в глазах сцена шахтерского клуба, куда втиснули с трудом квадрат ринга — четыре стойки и белые канаты, крохотная сцена, раздевалка, эстонец... Он помирал со страху, белобрысый, выходя на бой с чемпионом страны, кандидатом на европейский титул. "Господи! Ну почему я забыл все? Почему оказался таким идиотом — ни разу не вспомнил о мальчике?!"

Пыталась утешить и Юзя.

— Помнишь, папочка, тот случай с "Глазом Клеопатры"? Пусть Володя знает, что мы тогда пережили.

— Ты слышишь, сынок, — сказал дядя Митя. — Хоть бы возьми "Глаз Клеопатры", тот случай с нами в шестьдесят третьем! Тогда я не был директором рыбной базы, а вертел большие "гешефты" по производству дамских нейлоновых поясков. В один прекрасный день они накрыли меня, и я все потерял: перевернули квартиру вверх дном, описали и конфисковали. Но самое страшное было не это. Они нашли и то, чего и не искали. Единственный в своем роде бриллиант, известный в мире под именем "Глаз Клеопатры", я вмонтировал в электрическую розетку! Чего, казалось бы, может быть проще и гениальней, чем электрическая розетка?..

...Он был настолько уверен в легкой победе, что совершенно забыл о мальчике, ни разу не назвал его имя! И начисто позабыл о вислоусом бесе с проклятых солончаков. Он полагал провозиться со своим эстонцем все три раунда и выиграть без особых усилий одной голой техникой. Именно так и выигрывали у них все эти остальные национальные герои...

А добрая, умная Юзя так и старалась отвлечь его чем-то.

— А почему вы молчите, дядя? Почему не расскажите о своих сапожниках?

Дядя Петя сидел на переднем кресле, рядом с шофером.

... В первых двух раундах Зеев Паз обыгрывал эстонца, как хотел. Был просто великолепен на всех трех дистанциях — дальней, ближней, средней, демонстрируя публике высший класс техники. Ну, а если и приходилось маленько "всадить" — то бил резко, отрывисто, гоняя эстонца по всем углам и канатам. Бил, "как Бог черепаху", успевая при этом видеть зал, братьев Волковых и Юзю, которых сам усадил поближе к рингу. Улыбался им сверху, подмигивал...

— Что такое твой проигрыш? — сказал дядя Петя с переднего кресла. — Выиграл, проиграл! — мышинная возня, игра в бирюльки! Взгляни на меня, Володя, взгляни на Митю. Ты видишь этих бойцов? Нас били наповал, мы падали вместе, но каждый раз поднимались и жили снова. И это всегда — всю нашу проклятую сознательную жизнь. Ты слышал сейчас, что сказала девочка? Я кормил своих сапожников, как родной отец, они жили со мной, как у Бога за пазухой... С таким трудом, с такою опасностью я наладил сеть сапожников-инвалидов, доставлял им работу на дом. Они лепили мне обувь, а я сдавал это в магазин с фабричным клеймом. И все кушали с этой малины, всем доставался кусок хлеба с маслом: мне, сапожникам, директору магазина... И что же? Этим горьким пропойцам вздумалось меня заложить: дескать, я их эксплуатирую, наживаюсь на инвалидах! Теперь они жрут селедку с луком и запивают водой из крана, как все честные граждане!

...Паршивый брезент был натянут кое-как, брезент был весь в складках, а ноги так и скользили по нему. Чтобы не упасть, все внимание пришлось сосредоточить на кончиках ног. Техника Зеева Пазы держалась на исключительном

чувстве дистанции — малейшее нарушение ее обошлось бы ему очень дорого.

Это случилось в третьем, последнем раунде, на самой последней минуте. Зеев Паз был по-прежнему свеж, все видел, все вокруг слышал. Бой он выигрывал, это ясно было по судьям... Последнее, что запомнилось — были канаты слева: он стоял у каната, во фронтальной стойке, вызываясь открыв подбородок. Эстонец должен был броситься на него с ударом, а он собирался в это мгновение уйти от него с шагом вправо, с правым же контрударом — очень красивый маневр, дающий сразу три очка. Он дернулся вправо плечами, но правой ноги от пола еще не отнял... И тут случилось странное что-то с самим брезентом — будто рванули его под ним! Теряя опору в ногах, он косо, неуклюже поскользнулся, а удар эстонца пришелся как раз по вызывающе открытому подбородку — скользящий, навыворот удар, мгновенно раскрошивший челюсть... Запомнились еще белесые, расширенные в неподдельном ужасе глаза эстонца, табурет в раздевалке, и все пытались найти врача... Да, страшно и подумать, что бы случилось с ним дальше, если бы не стояло на улице это такси, умчавшее Зеева Пазу через несколько минут в Ленинград, в лучшую травматологическую клинику.

— Ты помнишь, Юзинька, — говорил дядя Петя, — помнишь, как все казалось, что я повис, что больше меня не увидят? Но, слава Богу, что есть в Ленинграде синагога у Садового проспекта, есть евреи со связями и деньгами. Что есть у меня Золотая звезда и папка в коленкоровом переплете за подписью Сталина, что было и кое-какое припрятанное золотишко!.. Ты слышишь меня, Володя, уж если такие бойцы, как я и Митя, говорим тебе, что челюсть — это еще не конец света, так это действительно не конец света, сынок!

— А какое мужество было прийти сюда! О, как она его любит!

Даже сейчас, чувствуя помутнение рассудка от свалившейся на него беды, Зеев Паз ощущал в глубине души спокойствие и равновесие: он знал, что соплеменники всегда поддержат его. Поддержат сильной рукой, ибо нет такого боксера, который шел бы всегда вверх и только вверх по этой шаткой и изменчивой спортивной дороге.

\*   \*

\*

Настоящее удивление Зеев Паз испытал рано утром, когда Юзя была допущена к нему в палату.

Его привезли из операционной, вся шея была обложена высоким, гипсовым воротником, а в челюсть вживили отвратительные пластины.

Он увидел в палате женщину в белом манто, длинном, импортном, неслыханно дорогом — и это потрясло его.

Всю ночь, лежа на операционном столе, усыпленный наркозом, Зеев Паз был переполнен различными видениями: перебирал свое детство горькое и безрадостное, вспоминал Голодную степь, где пристал к нему бес, вспоминал свою Анку, ее бедность, свою клятву на Ланжероне — привезти ее в Гиватаим... И это желание за ночь еще больше окрепло в нем, он видел это главной целью своей жизни...

Но почему же, глядя утром на Юзю и ее дорогое манто, он долго не мог ничего сообразить?

Все это очень легко понять, если открыть, наконец, что жизнь в трехкомнатной квартире на Марсовом поле виделась Зееву Пазу с Анкой и ни с какой другой женщиной на свете. Есть там свежайшую осетрину и прочие вещи — опять же с ней и только с ней. Иначе, на кой черт, скажите сами, сдался ему этот город, вечно пронизанный сырým, омрачаю-

щим душу туманом? И шел он еще на это, чтобы оторвать подальше свою любовь от этой дуры, Валентины Петровны. Разбудить в Анке загложший отцовский корень, вызвать в ней интерес к маленькой стране на берегу Средиземного моря, насквозь пронизанной запахами морских прибоев и апельсинов. Ну, а после — потихоньку собрать манатки да отчалить к Юлию Мозесу.

Возмутившись вначале, что в этом манто, несомненно, принадлежащем Анке, пришла в палату совершенно незнакомая женщина, Зеев Паз впал в отчаяние. Уронил на подушку ослабевшую голову, чувствуя, что это манто ведет его к тихому помешательству.

Однако здоровая психика и закаленные нервы его замечательно тренированного организма спасли Зеева от всяких покушений на его рассудок. И очень скоро все расставилось по своим местам.

В этом же шикарном манто, вызывавшем острую зависть у персонала всей клиники, стала приходиться к нему Анка.

Сидела любовно и терпеливо у кровати больного до быстро бегущих ранних сумерек, а после приходил санитар и выпроваживал Анку. А Зеев Паз в томлении сердца принимался ждать наступления следующего дня.

Не позволяя прикасаться к своему сокровищу нянечкам с равнодушными, грубыми руками, она сама меняла на нем белье, перестилала постель. Каждое утро Анка приносила в кастрюльках удивительно вкусные бульоны, различные пюре, кормила его с ложечки, ибо Зеев Паз был начисто лишен возможности принимать твердую пищу. Склонившись оба к ложечке, они дули в нее презабавно, а губы их сами собой сливались в поцелуе и ворковали, и щебетали друг другу всякие глупости.

Продолжая ворковать и нежно целуясь, они успевали обсуждать и тысячи ужасно важных вещей: в какой форме и с каким текстом печатать им пригласительные билеты,

какие кольца заказывать? Мебель на Марсовом поле: что в спальню и что на кухню? Ну, а гостиная в сорок метров? Фата, костюмы? Куда идти на регистрацию?..

Пролетали быстро дни и недели, Зеев Паз поправлялся: снят был воротник гипсовый, мышцы и связки на лице окрепли, появилось ощущение прикуса между зубами, привычным стало и ощущение пластин во рту — пластины эти было предписано держать на деснах еще месяцев шесть после выписки из клиники.

Первая странность случилась с ним, когда, облаченного в черный костюм, белоснежную сорочку и галстук, купленные ему еще дядей Петей, взяла его Анка за руку и пошла вместе с ним по мраморной лестнице вверх, в огромный, с золотыми купидонами зал, где был потолок старинной лепки, а из тяжелых распахнутых дверей поплыли на них торжественные звуки полонеза Огинского, записанные на магнитную ленту.

Излучая девичье счастье, Анка стремилась вверх, тянула его, а звуки музыки что-то вдруг разбудили в нем. Особенно назойливы стали запахи, и кто-то уснувший заворочался в нем, возмутился:

— Что-то тут, брат, не так! Что-то происходит очень неправильно, — загудел этот засоня. — Так странно пахнет от бабы. Лошадью пахнет, Ну, скажем, не лошадью, а жеребенком, жеребеночком, что ли...

## ГЛАВА IX

Стояла глубокая осень и было далеко полночь.

За черными окнами лил унылый дождь, переходящий временами в ливень; бил по крыше и стенам, заставляя

Зеева Паз и Вадима отрываться от последней беседы, прислушиваться к непогоде.

Коптила у них на столе керосиновая лампа, скудно освещающая избу, потому что много высоких бутылок "алб-де-массе" было наставлено вокруг лампы, загораживая свет.

Валялись рукописи сказок, расшвырянные пьяной, беспечной рукой автора — на мокром столе, на полу, на подоконнике — кругом были сказки.

Зеев Паз приехал увидеть в последний раз этот город, измучивший его сны и явь, ибо весь его удивительный дар легко проникать в свое будущее и прошлое, даже такое прошлое, как тени предков, позвавшие его в Иерусалим, — этот дар подсказал ему, что все пережитое в этом городе было и останется самым значительным, что отпущено ему в этой жизни.

И самое главное — хоть краешком глаза увидеть Анку! Взглянуть на Анку, которую оставляет здесь навсегда. И это надо было еще осмыслить, согласиться с этим.

Стояли слезы в горле, он мог их выплакать только завтра, на груди Юлия Мозеса, в его клинике в Гиватаиме. О, как было обидно и горько: никто не вышел вчера из квартиры на улице Пирогова, не спустилась Анка с цементированных ступеней, не пошла на троллейбусную остановку — мертва была квартира, задвинуты дубовые ставни на окнах. А после обеда, прячась у ворот физического факультета, он тоже ее не нашел, когда обшаривал глазами косяки студентов... Взглянуть бы только в лицо — спокойна ли она, или по-прежнему бедна и несчастна?

Взглянуть издалека, не вступая в разговор, не объясняясь! О большем Зеев Паз и не мечтал, большего и не просил...

И не тянуло вовсе провести последнюю ночь в этом городе, на оставляемой навсегда земле, в ветхой хатенке, ушедшей по самые окна в крутую Рошкановскую горку, не

тянуло слушать дурацкие сказки, слушать к тому же внимательно, ибо требовал Вадим непременно оценки и восхваления, не тянуло пить ненавистную кислятину "алб-де-массе" в высоких бутылках с сургучными головками. Да так уж вышло, черт побери!

Всю ночь выл и скулил за окнами дворовый пес Вадима по кличке Жид. Да так пробирал, будто скончался в избе дорогой ему человек, и ни о чем другом не думалось под этот скулеж, а все мерещилось Зееву Пазу, все больше он убеждался, что именно по нем и плачет собака! Он-то и умер!

Будто поставлен между ним и Вадимом здоровенный гробище — даже такая чертовщина!

И становилось понятно — не зря он был приведен в эту избу, не зря воет пес за окном: в высокий час расставания с прошлым судьба уготовила ему этот гроб, в который надо многое свалить, оставить в этой земле, не тащить, как хвост, в Иерусалим.

— Стой! Не пей! — воскликнул Вадим, вскинув к потолку палец и вызывая к вниманию. — Слышишь, чего мой Жид вытворяет, слышишь?

Гроб Вадим не видел сейчас. Пьяный и возбужденный, он только мешал Зееву Пазу. Борода у Вадима была в мокрых рыжих сосульках, кружку держал он сильно трясущейся рукой, а в глазах сверкало безумие.

— Как ты думаешь, о чем он там разрывается? О, я всегда говорил: мы с ним — одна душа, одни мысли! Нет на свете пары существ, что так понимали бы друг друга!

Зеев же Паз сидел угрюм, неподвижен, и текла перед ним река его прожитой жизни, а он извлекал оттуда всякую всячину для погребения. А крышка от гроба лежала на лавочке возле печки.

— Он просит от тебя ребенка, он видел, как ты пришел с сеткой-авоськой, и вмиг все понял! О брат, если бы ты

только знал, как мы любили тебя, как любим — ты бы не оставил нас! Я тоже хочу от тебя ребенка! Не можешь ты покинуть нас, не оставив взамен что-то живое, существенное. А мы с Жидом обещаем тебе не делать аборт!

— Аборты — это убийство! — сказал Зеев Паз. — Категорически выступаю против абортов!

Гроб захватил все его воображение. Казалось даже, что по всей избе разит свежим смолистым духом от досок и стружек, на которые положен покойник: так и хотелось провести пальцем по жилкам и сучкам на косой, обращенной к нему, трапеции гроба. Зеев Паз тоже был сильно пьян и понимал это.

— Не видел ты нашей любви, не принимал ее!.. Вечно был поглощен самим собой: из кожи лез вон — везде и всегда быть первым! — Жидом Номер Один! Номер один в боксе, номер один в постели, номер один в прозе... Да и сейчас ты вышел в Жиды Самого Первого Номера — первое и не было, самый первый едешь туда!

— Вот это уже неверно! — возразил он. — Юлий Мозес обошел меня ровно на пятнадцать лет, я только повторяю его подвиг.

Вадим перегнулся через стол, налил ему полную кружку.

— Э, нет, простите, я знаю, что говорю: именно ты первый! А Юлий твой Мозес — дерьмо и мелкая гнида. Завтра ты сам это узнаешь... Ха! еще бы не подвиг: перебрался поближе к границе, женился на русской бабе, ребенка себе родил... Ну и пустили на конференцию медицинскую! А почему бы и не пустить? Все, как и положено — семья ведь заложниками остается! Вроде бы рядом, доплюнуть можно до Бухареста! Ан, там уже, за кордоном... Ах! как он любил свою доченьку, как он любил женушку! — "Я на базар, Валечка, помидорок куплю, на часик, не больше..." Это тебе, брат, хвала да слава, это ты их тащил отсюда обеими руками да зубами, себя не щадя!

Покойник лежал в гробу, облаченный в зеленую фланелевую куртку и шаровары: точь-в-точь, что носил Зеев Паз в психлечебнице. И он обрадовался: покойник уходил в могилу, изъятый, стало быть, в момент своего самого страшного наказания, и уходил, к тому же, со всем набором ленинградских своих соблазнов: ведь под фланелевым облачением понимался и черный дяди Петин костюм, и свадьба, и квартира на Марсовом поле, где Зеев Паз прожил с Юзей пару дней, угодив прямехонько в лечебницу с диагнозом "травма вестибулярного аппарата". Радуюсь, что все это уйдет от него, Зеев Паз заметил себе: "Не напиться бы в стельку пьяным к концу этой ночи, а вспомнить еще о крышке! Крепко заколотить ее и снести гроб на кладбище!"

Они выпили, ударив кружками "за здравие".

— А знаешь, чего он воет сейчас, чего Жиду хочется? Чтоб я отпустил его вместе с тобой! Страшно тебе завидует!

И оба они прислушались к собачьим стонам и воплям во дворе. Вадим выбросил кулак в сторону черных стекол и крикнул:

— Нет, нет, ни за что! Мало мне, что Жид Номер Один сбегает?! Никуда ты из Молдавии не уедешь, псина паскудная, не отпущу я тебя! Мы еще дождемся с тобой последнего слова молдавского народа, увидим, как выйдет он в великие нации!

"Уж если заколачивать его, так заколачивай все! — заметил себе Зеев Паз. — Ни одной дряни не вези с собой туда... Так, а что же было с тобой после куртки этой фланелевой? Ага: летчики веселые, добрые в рижском рейсовом! Валентина Петровна в ванной со своими венами дурацкими и бритвой! Анкин живот в этой избе... А после ты в Ташкент вдруг подался, туда тебя занесло! Туда, в Ташкент, откуда ты весь и вышел: поступил воспитателем в тот же самый приют замызганный на Тахтапуле и слово себе дал: откуда начался, там и кончишься, только из Ташкента в

Израиль уедешь... Да, как бы хотелось свалить еще в этот гроб и ремеслуху, и сиротский приют мой, и Голодную степь с вагончиками, и беса с проклятых солончаков! Все, все бы вырвать из памяти живой!"

Вадим снова наполнил кружки, они тут же выпили, чокнувшись.

— Когда ты в Ленинграде женился, Анка часто приходила сюда. Узнавать приходила: что с тобой, да где ты?! А Жид мой принимался скулить во дворе — так мы все о тебе и знали. Нет, что ни говори — поразительный пес, самый способный из всех Жидов, которые у меня были. Одна лишь досада с ним: ничего не знает о будущем молдавского народа! Так что, сам понимаешь — сказки свои я сам сочиняю!

Зеев Паз оживился.

— Ну, а брезент в Кохла-Ярве? Кто тогда рванул подой мой брезент? Отвечай, брат, если все вы тут знали?!

С минуту Вадим сидел хмуро насупившись.

— Творчество Жиду не отпущено! Чье-то, видать, хитрое творчество было тогда с брезентом. Тебе лучше знать, что это за фокус-покус был.

И Зеев Паз ушел в мрачные воспоминания. Снова представил себе, как летит на него жестокий удар эстонца, от которого нельзя увернуться, как лопнула с хрустом нижняя челюсть и, взыв по-звериному на весь зал, чемпион схватился руками в перчатках за лицо. И белесые, полные ужаса от содеянного — глаза никому неизвестного доселе эстонца... Заметив, что Зеев Паз снова уходит от него в свои мысли, Вадим взял бутылку и налил ему полную кружку.

— Забудь ты, брат, все это, — воскликнул Вадим. — Вот хочешь, мы удивим тебя с Жидом по-настоящему?! Я стану переводить, чего вещает моя скотинка бездарная о твоей будущей жизни!

...Солончак начинался сразу же за вагончиками. Тянулся метров на триста мертвым, белым полем, упираясь другим своим концом в высокую насыпь дренажного коллектора. А посредине торчал мазар — гробница по-тюркски замурованные с четырех сторон стены и купол, слегка обвалившийся на макушке. Старики-аксакалы из совхоза "Кукумбай" чуть ли не в первый день настрого запретили пацанам из ремеслухи подходить к саксауловой изгороди солончака. Захоронен там, дескать, первый палач Чингис-хана! Тот самый, нарубивший курган голов с самаркандских сартов. Ну и сам впоследствии пострадавший за эту услугу, как и ведется у приличных тиранов. Собственноручно Чингис-ханом погребенный палач, как святой какой-нибудь... Заклят, мол, мазар с того времени! Даже соль вокруг ядовита... Девять месяцев "трухали" пацаны приближаться к изгороди, помнили жуткий курган черепов! Зато напоследок об заклад побились: айда, хлопцы! Кто принесет с мазара горсточку праха? С самой что ни есть могилы вислоусого?.. Зеев Паз, понятное дело, первым и вскинулся: знай, мол, наших, породу жидовскую!.. Ночь была лунная, ясная. И, чтоб лучше наблюдать его вторжение на солончак, залезли пацаны на крыши вагончиков. Собственными глазами убедиться: не обманул чтоб, а взял бы соли с самой могилы; там побывал, в мазаре... Он проломал кривой частокол саксауловый, прошитый бычьими жилами, и пошел по соли, как по коврику. Сначала полез на стену, цепляясь за выступы: это было совсем нетрудно. Потом пополз к куполу, полагая за что-нибудь ухватиться там, в проломе, и прыгнуть вниз. Он подползал все ближе, ощущая под руками сухие колючки и растительность. И вдруг все под ним рухнуло... Увлекая за собой остатки купола, он свалился вовнутрь, сильно побившись... Но принес-таки этим трусам на вагончиках горсть праха с могилы... С тех пор и пошло: то за бедро схватит голой, холодной лапой, то по плечу саданет. Вроде бы тик,

судорога, а кожа дергается, как на лошади, когда ее тронешь. А после и совсем обнаглел бес...

Кружки стояли полны вином. Они выпили, чокнувшись.

— Сознайся же, сукин ты сын, ты бы никогда не приехал попрощаться с другом, кабы знал, что одолела тебя Валентина Петровна, отвадила вашу породу от дома?! Что Анка замуж пошла за Коську, за дылду сиволапого?!.. О, Коська — парень что надо, уж он-то на ней не загнется, в нем керосину не меньше твоего!

Зеев Паз прислушался: Вадим говорил что-то новое об Анке, чего он не знал вовсе. Вот оно что! Замужем, стало быть!.. Нет, не зря пришел он в эту избу, далеко не зря: он узнавал сейчас страшно важные вещи!

Такого критика и друга судьба уже не подарит мне! — сокрушался Вадим. — Сознайся хоть напоследок — ты ведь за графомана держал меня?! Так знай же — в эту ночь ты услышишь настоящую вещь, и я тебе ее прочту! И вспоминая меня, ты будешь говорить там: да, этот пьяница, бездарь создал-таки настоящий шедевр!.. Но прежде — выпьем! Там тебе не придется пить молдавское наше алб-де-маше из больших глиняных кружек! Многих радостей жизни ты будешь лишен. Итак, где она, рукопись?!

”А что же будет с мальчиком? — вспомнил Зеев Паз. — Ни в коем случае нельзя оставлять его здесь! Не может же он идти и идти бесконечно в этой колонне, обреченной на смерть, меж собак и солдат с оружием на животах! Надо оборвать это шествие, помочь и мальчику... Я вот что могу для него сделать: приеду в Иерусалим, зайду в музей памяти шести миллионов Яд-Вашем и постараюсь узнать его имя. Там-то уж непременно должны знать о его подвиге с гранатой. Не могут быть у евреев безымянные герои, такое заведено лишь у народов с небрежной памятью и ленивым сердцем... Узнаю его имя и высажу в Иудейских горах рощицу в его честь. И пусть он себе живет в этой рощице,

выходит помогать людям, как мне помогал. Пусть он живет на родине, а не в колонне, обреченной и скорбной... О, еще очень многим людям предстоит ему выходить на помощь!"

Вадим отыскал рукопись сказки, вернулся к столу. В глазах его вспыхнуло вдохновение, и он начал:

— Называется сказка "Сердце из плоти". Итак: "Жило было на земле племя, забытое Богом и отданное во власть сатаны, и у племени этого родился великий сын..."

Но тут взвыл во дворе пес, взвыл особенно протяжно и громко. Вадим прекратил чтение, злобно глянул в сторону окна.

— Оставь ты его в покое, — попросил Зеев Паз. — Дальше читай!

— Да как же тут читать? Ты знаешь, чего он там воет?!

— Ну и пусть себе воет, любой бы был на его месте в такую погоду!

— О тебе, брат, вещает! И знаешь что? Говорит, что ты будешь жить в Иерусалиме. А окружать тебя будут существа с антеннами из голов. Ну, не чушь ли? Чего он, интересно, имеет в виду. Уж не станешь ли ты заниматься там подготовкой к космическим полетам? А что, вполне вероятно! С твоими мышцами и здоровьем — вполне возьмут в космонавты! Звучит, брат: первый еврейский космонавт! И там, значит, первый будешь!.. Или так: приземлятся, допустим, в Иерусалиме существа с иных планет и выведут вас в первый народ на земле, просвещая и наставляя! В Иерусалиме все может быть, любые чудеса! Не так ли?

— Не надо нас никому просвещать, мы сами и есть существа, рожденные от небесной идеи!

— Фи-и-и, — поморщился Вадим. — Замухрышки вы самые обыкновенные! За редким исключением, правда, вроде тебя... Помнишь, занимался у тебя на "Динамо" еврейчик один, звали его?.. Тьфу ты, козья рожа, из головы

выскочило!.. Ну, красивенький такой, усишки тонкие, пробор косенький?..

— Моня, что ли?

— Во-во, он самый! Который Анку у тебя перегнул, когда ты в Ленинграде пропал.. Сидим мы, значит, однажды, с Анкой, а Жид во дворе вдруг возьми да взвой по-особенному, точно так, как сейчас. Наточил я уши, прислушался. И говорю ей тогда: не ложись, Анка, с еврейчиком своим, беда будет! Кишка, говорю, у него слаба, не вынесет он тебя, окочурится!.. И что бы ты подумал? Так и вышло, как Жид ей накаркал! А после шум на весь город, следствие: отравила, мол, соколика, стерва! Покуда не выяснила экспертиза: "Крайнее истощение нервов на почве сердечной недостаточности!" ... Вот тебе и особенные, вот тебе и сверхлюди! Да и ты, брат, хляк приличный, паникер, истеричка, скажу я тебе. Думаешь, спал тогда Вадим на блевотине своей? Э, нет, не спал! Не мог я такое удовольствие упустить, весь ваш разговор слышал. Чего, спрашивается, в Ташкент вдруг рванул? Свои-то грехи мы быстро себе прощаем, а баба как чуть свихнется с обиды — так сразу в Ташкент?! Чуть ли не сразу после деру твоего, все и решилось. Р-раз — и Моня концы отдал! Р-раз — и сводила ее мамаша куда следует, всю начиночку от покойника выскребли... Эх-эх, малость бы тебе терпения тогда! Сидели бы сейчас с Анкой вдвоем, да дожидались бы утренний самолет на Москву! А Валентина Петровна вам тью-тью ручкой: "..." глядели вдаль заплаканные очи, и женский плач мешался с пеньем муз!"

"Почему же он умер, Моня? Господи, да что же это мне за загадка такая?.. Как я любил их тогда, учеников моих! Как это бесило мое начальство на стадионе, всех этих полковников на персональных мотоциклах?! "Ты что, паря, нам синагогу развел, разгони своих евреев немедленно!" Бедный Моня, это я виноват в его смерти! Не женись я тогда на Юзе,

он бы жил себе до ста двадцати... Кстати, а куда ты собираешься положить этот гроб? Положи его рядом с Моне́й, на Ботанике, рядом с любимым учеником. Ты так виноват перед ним!

— Неужели в последний раз видимся?! — воскликнул Вадим. — Ни за что не соглашусь, что потерял тебя навсегда! Давай же, брат, напоследок напьемся! Напьемся, как свиньи! Был бы я бабой — знал бы, как провести нам последнюю ночь, а ты бы оставил мне хорошенького ребеночка!

— А ты, я погляжу, вовсе не промах, — заметил Зеев Паз. — Это ты ловко придумал с ребеночком! А я вам после вызовов пришли обоим, верно?!

— Не надо мне вызовов, — обиделся Вадим. — Никуда я из Молдавии не уеду, здесь умру! Думаешь, кроме вшей и клопов, мы ничего путного не рожаем? Все вы глубоко заблуждаетесь, полагая так. Мы еще выйдемся в мировую державу, моя сказка последняя как раз и говорит об этом. Слушай же сказку, космонавт ты ползучий! Итак: "Жило-было на земле племя, забытое Богом и отданное во власть сатаны, и у племени этого..."

Вдруг снова взвыл пес за окном. Да так, что все похолодело на душе. Померещилось вдруг Зееву Пазу, что не выйти ему отсюда. Будто сама изба эта, вбитая в землю по подоконник, станет ему могилой. Не увидит он Юлия Мозеса, Гиватаима, Иерусалима, не пойдет по улицам, вдыхая всей грудью запахи родины...

— Прости, брат, — перебил он чтение Вадима. — Ты слышал? Слышал, как воет Жид за окном? Мне страшно вдруг стало!

Вадим прислушался к темной ночи, замешанной на звуках ливня и собачьем вое. На его лице проступила мстительная ухмылка.

— Bravo, Жид! Вот теперь ты мне нравишься, теперь я доволен! Знаешь, о чем он вещает? К боксу, говорит, к

боксу своему ты ни за что не вернешься. Нельзя, говорит, в Иерусалиме поднять руки на человека, даже чистого спорта ради. Не могут там люди лупить друг друга. Ну что, выкусил? Так и будешь всю жизнь страдать, что ушел из бокса побитым каким-то эстонцем затруханным. Ну, брат, передумаешь, может, ехать, с нами останешься?

Вадим налил ему кружку вина. Чокнулись, выпили. Зеев Паз взял с тарелки кусок мамалыги. Они закусывали маслинами и мамалыгой.

— Зачем тебе ехать в беду заведомую? — продолжал Вадим. — Оставайся! Жида моего всерьез принимай. Лично я во всем следую его советам. Угождаю ему, заискиваю. А ведь лопнуть можно с досады, как низко пал человек! Во что меня пес поганый превратил?! И все стараюсь любви его не лишиться, дружбы его! Ты понимаешь теперь, почему я всем псам своим дворовым даю подобные клички? Ну, а после отъезда твоего — и подавно их называть так буду, разведу себе псов великое количество и никому из Молдавии не позволю уехать, тут пусть подышают. О, мы еще покажем миру свой гений, вы еще убедитесь, где проходит ось мира, пуп земли! Все вы вокруг нас вертеться будете, да на поклон приходить. Слушай же эту сказку! Слушай и оставайся!

А что же мне делать с Анкой? — подумал Зеев Паз. — О, я знаю, что делать! Возьму ее с собой: покажу отца, Гиватаим, Иерусалим... И пусть она тоже насладится малость видами той страны, которой принадлежит наполовину. Куплю ей мантию, шубу — все, что душа ее пожелает. Я так мечтал купить ей это. И пусть она живет там со мной сколько захочет... Так уж, видать, нам написано было!"

Тем временем Вадим читал свою сказку:

"Жило-было на земле племя, забытое Богом и отданное во власть сатаны, и..."

Тут снова раздались за окном жуткие собачьи вопли.

— Цыц! Жидовское отродье, — взвился Вадим. — Дай

человеку сказку дочитать! Вот я выйду во двор сейчас, да выну из тебя душу: зарублю, как всех Жидов зарубал до тебя!

И Вадим отложил от себя сказку в большой досаде. Снова налил вина обоим. Выпили.

— Тебя ни в коем случае нельзя отпускать! — сказал он Зееву Пазу. — Нет, брат, отсюда ты никуда не уйдешь, плохи твои прогнозы. Знаешь, что Жид сказал? В Иерусалиме, говорит, ты ослепнешь, оглохнешь и онемеешь! Снова, говорит, в психушку там попадешь, снова бредить будешь: "О, Юзя, зачем ты пришла? Отойдите все от меня..." Если чуда, правда, не случится с тобой в Иерусалиме!

Зеев Паз посмотрел на часы и встал с табурета.

Голова была свежей, зато ноги ломались: так уж устроено было алб-де-маса, дешевая кислятина.

— Все, — сказал он, — пора забивать крышку!

Вадим тоже вскочил.

— Куда же ты, брат, куда?

— Мне в Иерусалим пора! Помоги забить крышку!

— Куда среди ночи, останься? Самолет на Москву утром уходит!

— Я и говорю то же самое — помоги крышку забить! Да и гроб на Ботанику нести — тоже час нужен!

— Какой еще гроб выдумал, вот угорелый! Садись, выпьем!

— Э, нет! Не могу я хари твой больше видеть! Накормил ты меня нутром своим, все, что имел — выложил!

Вадим бросился к печке, вытащил из щели тяжелый колун.

— Вот я тебя и оставляю! — пошел он на Зеева. — Вот я тебя и убью! Зачем тебе на кладбище топать, я тебя в погребке положу, всегда ты при мне будешь! Иди же ко мне, иди ближе! Тут я с тобой на равных, с чемпионом кулачным! Это мне давно хотелось...

Налетая на табуретки, спотыкаясь о бутылки на полу, они кружили вокруг стола. Зеев Паз увидел дверь и метнулся во двор. Мгновенно промокнувший, он понесся прочь с Рошкановской горки. Бежал вниз, утопая в раскисшей глине, скользя, падая, поднимаясь снова.

А сверху, над мертвым городом, полетели вослед вопли покинутого друга:

— Брат мой, вернись! Я умру без тебя! Оставь мне ребенка! Ой-ай, ой-ай! — буду кричать, как Анка: оставь нам ребенка! Клянусь, ты вернешься сюда! Вы все еще вернетесь за гробом!

Зеев Паз был уже на нижней дороге, когда настигли его эти вопли.

О, ужас! На столе остался гроб с его телом и все его прошлое. Осталось не заколоченным, и все это надо везти с собой в новую жизнь?!

Зеев Паз упал на асфальт, в холодные, кипящие лужи, и разразился неутешными рыданиями.

Тут он ощутил возле себя нечто живое. Пес по кличке Жид, с оборванной веревкой на шее, принялся лизать ему уши и руки и тихо скулить. Пес ходил вокруг Зеева Пазы, все опутывая его веревкой, будто просил забрать с собой в Иерусалим.

## ГЛАВА X

”В слезах и с зернами уйдете в изгнание, — говорил пророк. — А вернетесь в радости и с полными снопами. И веселиться будете на улицах Иерусалима!”.

В девять часов вечера, в самый разгар гуляний и веселья, стоит Зеев Паз возле кинотеатра ”Оргиль”, ощущая в груди трепет оживающего сердца.

Смотрит кругом себя: поток сверкающих машин плывет вниз по улице, мотоциклы, мотороллеры. Идут по тротуару, качаясь в любовном томлении, парочки в обнимку. Витрины богатых магазинов, играющих неоновым светом рекламы. Кафе и рестораны. Толпятся туристы возле киосков, выбирают открытки с видами страны и святых мест, сувениры и безделушки. Солдаты и солдатки с автоматами, полицейские... Ну, не диво ли! Еврейские солдаты и полицейские?! А с обеих сторон, из высоких каменных домов слышится музыка из окон, тени танцующих за гардинами.

Радостью возвращения начинен вечерний воздух веселящегося Иерусалима, восторгом обретенной родины!

Один лишь Зеев Паз не ведает в этот час покоя, сдается ему в обиде — кого угодно имел в виду пророк древний, но только не его! Пригрел и обласкал великий город на своей груди всех этих пришельцев из изгнания, но только ему неуютно, Зееву Пазу.

Смотрит на стойбище блудниц через дорогу. Ишь, какое веселье стоит там! Ишь, бесстыжие, пестрые твари! Почему так хорошо им в Иерусалиме? Почему не изгонят их из святой столицы, камнями не забросают? Или забыл народ повеления Торы, оглохло ухо Израиля, справляя карнавал возвращения!

И слышат, как исходит в подобных праведных воплях душа Зеева Пазы, оба спутника его — добрый в ермолке и вислоусый с солончаков. Все они слышат! Кому же, как не им, утешить его? И заводят такой разговор:

— Пора отпустить его, — предлагает бес. — Пусть он идет к своей Анке. Вон та рыжая ему и назначена. Ах, до чего хороша, мне бы такую на вечер!

— Да будет так! — соглашается добрый. — Ей он отдаст свою шубу сегодня, и да плывет его хлеб по этим мутным и сточным водам. Все равно он возвратится к нему чистым, благоуханным.

И вот — толкает в спину Зеева Паз похотливый решительный бес.

— Ступай, — говорит, — Зеев, к этим славным труженицам, они помогут тебе. Ступай, покуда другой не перехватил. О, никто не знает их должности в этом городе! Тяжкое бремя сионизма несут они...

Заручившись согласием своих спутников, благословением их, снимается Зеев Паз с места и переходит дорогу.

Видит Анка, как он идет к ней, петляет в потоке машин, мотороллеров. Давно следит она за Зеевом Пазом.

— Шалом тебе, робкий "русский"! — смеется Анка и жует жвачку. — Как поживают коллеги наши на Яффском тракте? Ты обходил их сегодня?

— Я все ломаю себе голову, — отвечает Зеев Паз. — Почему вас всегда по восемнадцать — блудниц и нищих? Что это за цифра такая?

Анка достает сигареты из сумочки, закуривает, не торопясь, загадочно улыбается.

— И все-то ты хочешь знать, так и открой тебе наши тайны?! Восемнадцать — цифра жизни. Любой младенец в Израиле знает это. Сегодня ночью ты и сам все поймешь.

— И что же будет сегодня ночью?

— Вел бы ты счет нашим девочкам да шубам своим — тогда бы догадался. Я у тебя — восемнадцатая!.. Ну-ну, дурачок, не выкатывай так глаза и рот закрой — ворона залетит.

— И в самом деле — нет, не считал...

— А знаешь, у меня хорошие новости для тебя, — оживилась Анка. — Эти скряги из Земельного фонда согласились на участок под рощицу, полдунама тебе отвалили! Мы-таки добились своего, уломали их звонками своими бесконечными. Полдунама на Арсенальной горке!

— На Арсенальной горке? — Зеев Паз сник, разочарован-

ный.—А я мечтал в Иудейских горах... А кто придумал мальчику это место, чья это идея была!

— Чики придумала, ее это идея! Помнишь Чики? Совершенно безграмотная шлюшка, но какое воображение зато! Это же замечательно — высадить рощицу там, где шли самые жестокие бои за Иерусалим! Я думаю, что и мальчик будет доволен жить на Арсенальной горке. Послушай, "русский", а ты выяснил что-нибудь? Кто он, откуда?

— Хаим Гольдман. Хаим Гольдман из Бессарабии, — сказал Зеев Паз. — Так они думают в "Яд-Вашеме". А сейчас уточняют одну деталь: если ход поездов из концлагеря Транснистр совпадает с днем его подвига в Аушвице, то может статься, что мальчик — мой старший брат. Не могли же родители сказать молдаванам, что есть брат у меня! Отдали через проволоку и все, одну лишь фамилию успели шепнуть — Гольдман! Ну, а имя мне уже в приюте навесили — Володя. Так им, видать, понравилось.

Анка всплеснула восторженно руками.

— Это же потрясающе! О, тогда мы тоже войдем с долей расходов! Тебе одному не потянуть, саженцы сейчас безумно вздорожали!.. Выходить с хлебом на улицу, гоняться за милосердием — да это же и есть прямое наше назначение! О, "русский", неужели ты лишишь нас доли в этом деле? Как это все сюжетно, занимательно? Ты будешь писать роман об этом?

Зеев Паз смутился, скромно потупясь.

— Я еще не решил. Мне было бы легче, чтоб мальчик остался символом. Писать о символах гораздо проще.

Из общего потока машин отделился в эту минуту роскошный "пontiак" спортивной марки, подъехал к тротуару, притормозил у ног Зеева Пазы и Анки. Опустилось стекло на дверце, и выглянул почтенный господин в голубом костюме, с седой шевелюрой. Недвусмысленно, умоляюще посмотрел на Анку.

— Занято, занято! — замахал руками Зеев Паз. И красивый, почтенный господин откатил к другой блуднице.

Анка восхищенно взглянула на Зеева Пазу, будто спас он ее Бог весть от какой опасности, а не шуганул клиента богатого.

— Ну, спасибо! Да ты, я вижу, и не такой уж робкий. Я бы с ним все равно не пошла. Я же сказала — тебе назначена! Ну будет, нечего здесь торчать, поехали!

Оставляют они греховодное место, длинным темным переулком выходят к магазину готовой одежды "Ата". Стоит здесь на обширной стоянке голубенький, потрепанный "фольксваген", ключами от которого владеют все восемнадцать иерусалимских блудниц.

Анка ловко вырывается на улицу Бен-Иегуда, берет к площади Цион, и оттуда, по улице Яффо — в направлении Старого города.

Пристально впившись в дорогу, Анка спрашивает Зеева Пазу:

— Ну, а деньги? С какого ремесла ты зарплату имеешь?

И Зеев Паз оживляется, приходят на память слова Вадима.

— Я космонавт, — смеется он. — Меня окружают на работе люди с антеннами из висков.

Анку такой ответ приводит в умиление.

— Дай я тебя поцелую! — и целует Зеева Пазу. — Конечно же, космонавт! Все вы, "русские" — космонавты, позабывшие впопыхах забить крышки на гробах своей памяти!

— Да он бы зарубил меня, этот погромщик! — восклицает Зеев Паз. — Как пить дать, зарубил бы тогда! Слава Богу, что не помчался за мной до дороги, когда я на асфальте свалился!.. Допустим, я бы сцепился с ним, хрястнул бы его табуретом по башке! Но ты одно пойми: тот, кто уверен в своих кулаках, всегда боится любого оружия! Направь на меня вилку обыкновенную, и я побегу от тебя...

— Нечего огорчаться, это хорошо, что ты убежал, — назидательно отвечает Анка. — Тут радоваться надо, что горел в тебе свет Иерусалима. Говорят, что к таким, как ты, еще в утробе матери приходит ангел и снаряжает знаниями для будущей жизни, вкладывает инстинкты, как магниты. А потом, когда выходит человек на белый свет, этот же ангел нажимает пальцами на уста, чтоб все твои знания остались в тебе запечатанными, не рассеялись. Видишь ямочку на верхней губе? Это и есть след его пальца. Спас тебя тогда от Вадима тот свет, что показал тебе ангел!

Летит потрепанный, старенький "фольксваген" мимо мшистых стен Старого города, обложенных зеленью веков.

А внизу подсвечены стены странным желтым огнем. И фонари вдоль дороги — тоже желтые.

И думает Зеев Паз — не ради красоты и экзотики это, не ради туристов: иной, возвышенный смысл здесь! Точно свеча во Вселенной сияет вовеки Иерусалим. Негасимой, желтой свечой правды и истинной веры! Под точно таким же светом лучин и свечей сидели в пещерах отшельники, освещали в ночи свои углы и каморки древние пророки, ученые мужи и ревнители закона! Конечно же, Анка права: именно к этому свету тянулся душой Зеев Паз всю свою прошлую жизнь. Знал, что нужно идти к нему, и пришел!

И снова наклоняется к нему Анка, снова целует.

— Сколько вас прибывает сейчас — космонавтов! Благословенный "русский", ты привез из галута парочку безобидных комплексов: предметы верхней женской одежды и стражников Врат Судилища, но даже не знаешь, какие бывают среди вас инвалиды!

— Разве похожи мы на ублюдков? Почему вы не видите этих тучных снопов, с которыми пришли мы на родину? Неужели все наши прошлые приобретения никого не интересуют?

— Видим, мой милый! Все видим! Но дело в том, что ваши снопы еще замурованы. Только мы, блудницы, можем тут что-то сделать.

У Шхемских ворот, возле копей царя Соломона, Анка притормаживает машину. Ждет, когда сменят на перекрестке красный фонарь на зеленый. Откинувшись от баранки, закуривает сигарету.

— В картотеках наших значится уйма дел. У меня есть подписка "о неразглашении", но кое-что тебе можно открыть. Взять, к примеру, господина Леонида. Он приближается к восемнадцатому сеансу, к выздоровлению. Это же цирк, умора одна, на что похожа его спальня! Громадный стол казенного вида, ковровая на полу дорожка, а у окна — стальной шкаф несгораемый, как в банке... Сижусь я, обычно, по эту сторону стола, а он — напротив, на табурете... Ты будешь смеяться: в России бы мне полагалось за эту работу, по крайней мере, чин капитана! Я знаю, как бить по рукам стальным прутиком, чтоб пальцы остались целы, оглушать подследственного кишкой с песком по башке и всякие другие штучки-дрючки, из бескровных пыток. А когда он мечется, когда отчаяние его вот-вот перейдет в истерику, тут я его разом и облегчаю. Или на столе, или на дорожке ковровой.

Загорается зеленый свет на перекрестке, Анка трогает с места "фольксваген", входит в поток, набирая большую скорость.

— Ну, а больницы, диспансеры? — спрашивает Зеев Паз. — Где они, все эти психоаналитики, аппаратура современная, лекарства?

— А мы и есть все это вместе взятое. И даже большее!.. Ты понятия не имеешь, какие у нас связи, какие возможности. Но в том-то и загвоздка, что этих людей одолевает собственная дремучая память, ничего извне сюда не пристегнуто. Взять, хотя бы, другой случай: господина этого зовут

Сергей: ни разу в тюрьме не сидел, не стар, не в пожилом даже возрасте. Спальня у этого обтянута сплошь колючей проволокой. И проволоку эту он подключает к напряжению, по необходимости. Заместо двери — опять же колючая проволока. И все это толкуется, как символ обнесенной границы и безысходной запертости... Всю ночь с господином Сергеем играем мы в такую игру: появляюсь я, скажем, в калитке, а он кричит мне из далекого угла, сидя на "нарах": "Кто там"? Гляжу я в бумагу у себя на руках и отвечаю, на выбор: "Директор научно-исследовательского института прикладной математики Василий Сомов!" Или: "Начальник районного отделения милиции Варвара Ивановна Скуратова!" Или: "Зав. городским ОВИР капитан Кожakov!.." А господин Сергей выскакивает на меня из угла своего и зверски насилует! И знаешь, что в этой комедии самое неприятное? — кричать ему без акцента все эти русские фамилии: пару часов перед каждым сеансом — стой и выдрючивай голос!

— Удивительно! — говорит Зеев Паз. — Третий год живу в Иерусалиме, да так ничего в нем и не пойму! С такими, порой, встречаешься вещами, что просто свихнуться можно! Ну почему бы вам не работать открыто, чтобы знали все о вашем труде? Статьи в газетах, интервью на радио и телевидении? Да просто, чтоб знали адрес и телефон, куда обратиться? Поразительный город!

— На то он и Иерусалим, — говорит Анка, продолжая следить за дорогой. — Нельзя объять его разумом, нельзя запомнить, описать, унести с собой. Все духовное — неуловимо! Быть может, после ночи сегодняшней тебе повезет, сойдет на тебя миг единения с Иерусалимом.

Минуя ворота царя Ирода, или, иначе, ворота Цветов, Анка круто берет влево. Въезжают они в арабские кварталы из ветхих домишек с плоскими крышами, маленькими двориками в виноградных лозах. Улицы, тупики, проулки

скудно освещены здесь. Близость чужого, враждебного мира, затаившегося в обиде за уходящую родину заставляет умолкнуть в машине обоих — обратиться мыслями к тягостям жизни.

— Ты молишься по утрам? — задает Анка вопрос.

— Нет, — говорит Зеев Паз.

— Начни молиться! Мне кажется, что только на наших молитвах держится наша страна. Отпусти себе бороду, пейсы... Нам надо платить зарплату по самым высоким ставкам. Платить за то, что каждое утро мы читаем наши газеты и слушаем радио, где кровь, резня и смерть за смертью. За то, что мы вообще не бежим отсюда. Но мы еще вкалываем, как последний раб на египетских пирамидах! Воюем против тьмы врагов, что наплодил нам Господь Бог в своей неумейной щедрости.

Закончились темные улицы с арабскими домами и показалась впереди Арсенальная горка. Заполыхал опять над высокими домами желтый, родной свет. Вернулись мысли к покою.

— А я ведь, признаться, тоже больна, — говорит Анка. — Больна грызущей меня обидой. Вот едем мы да смеемся оба: космонавт, космонавт!.. Последний кретин побывал уже на луне, а только мы, как всегда, должны быть везде последними! И это там, где наши предки витали мысленно еще тысячи лет назад! О, как мне хочется, чтоб какой-нибудь ладный парень взялся за это дело. Закрутил бы и у нас с ракетами и космодромом! Ты не знаешь наших евреев — их может оставить без колыхания любое земное, но идея, устремленная к небу, возмутит им рассудок. Так он устроен, этот народ, сам родившийся от небесной идеи. Ну сам посуди: для того ли пришел ты сюда, чтобы мечтать о возрождении в Иерусалиме варварства кулачного боя? Вот бы нам заключить союз: я излечу тебя, ну а ты — меня: договорились?

С погашенными огнями въезжает "фольксваген" на стоянку у высокого белокаменного дома.

Выходят они из машины, запирают дверцы.

Смотрит Анка на дом, задрав голову. Причудлива, необычна его архитектура. Линии древних, рыцарских замков мерещатся глазу в его изгибах, багдадские башенки, балконы... Вечным покоем веет от желтого света с его этажей и окон.

— А знаешь, когда его взялись строить? — спрашивает Анка.

— Знаю, — говорит Зеев Паз. — После Шестидневной войны! Это я знаю.

— Благословен Ты, Господи, приготовивший человеку все необходимое! Когда ты начнешь молиться, тебе откроется смысл этих слов, что произносят по утрам. Вспомни, когда был заложен твой дом в Иерусалиме? Именно в тот день, когда ты был изгнан с Марсова поля и угодил в психушку. Когда казалось тебе, что сошел ты прямо в преисподнюю во всем своем ничтожестве!

Заходят они в подъезд, поднимаются в квартиру.

Анка сразу направляется к шкафу, раскрывает его настежь.

Множество шуб, пальто, накидок, горжеток и капюшенов висят здесь в тесноте и обилии в прозрачных нейлоновых чехлах.

— Н-н-да! — говорит Анка. — Тут можно с шиком и блеском одеть всех израильских блудниц! Теперь я понимаю, почему не справились с первых сеансов ни Юдит, ни Чики, ни Пали... Вид этих шуб ослеплял их. Они давали тебе самое примитивное: "ой-ай, ой-ай!" и уходили утром с хорошенькой штучкой! Ты не сердчай на них, они так бедны, наши девочки, совсем малограмотны. Многие не кончили даже начальной школы. Многие не сдали зачетов по Танаху и

Талмуду — понятия не имеют о стражниках Врат Судилища... Ну, а сейчас води меня в спальню!

Зеев Паз берет свою гостью за руку, вводит в соседнюю комнату. Железную сохнутовскую кровать видит здесь Анка, жесткий матрац отшельника, голые стены, грязь, окурки. Зеев Паз включает свет. Стопки книг возникают в углах, печатная машинка на табурете, множество рукописей кругом.

Но Анке этого мало, она упорно ищет что-то еще.

Пытаясь прочитать ее мысль, Зеев Паз заливается краской стыда за свою бедность.

— Какая же это дикая страна! — наконец, произносит она.

— Какая страна?

— Да Россия твоя! Там что, после смерти людей на костре сжигают? Или просто так в землю кладут?

— Да нет, в гробах, вроде бы, хоронят!

— Так где же он, гроб-то твой?

— Ты что, спятила? На кой черт он мне сдался! Он там, у Вадима остался.

Это лишь отчасти Анку удовлетворило. И снова она пустилась искать глазами кругом.

— Хорошо, а где же врата тогда? Калитка? Столбы? Арка?

— Да за кого ты меня принимаешь? — начинает злиться Зеев Паз. — Что я тебе, язычник какой-нибудь африканский? Понятия не имею, как они выглядят! Тогда достает Анка карандаш и блокнотик из сумочки. Испещрен ее блокнотик какими-то записями. И начинает она читать, ставя там крестики.

Первое: — Привезти необходимый инвентарь — крестик!

Второе: — Вести допрос, облачившись стражником — крестик!

Третье: — Ни в коем случае не отдаваться — крестик!

Четвертое: — В случае неудачи, позвонить...

На пункте четвертом карандашик повис над строчкой. На Анкином лице возникло вдруг восхищение от внезапной простой догадки.

— Господи, так тут и делать-то нечего! Только позвонить!

— Куда это звонить? — насторожился Зеев Паз.

— Ах, какая же я недотепа! Слетать на гору Сион да позвонить! И пусть пошлют за этим его же бабу, пусть сам он увидит все!

— Какой Сион, какую бабу? — восклицает Зеев Паз.

— Ну что ты элишься, мой милый? Ты был хоть раз на горе Сион? Ты знаешь, что рядом с могилой царя Давида висит самый загадочный телефон в мире? Ну там, в прокопченных лабиринтах, где лестница идет к куполу? Я скажу им одно только слово, и сразу меня поймут!

Анка убрала в сумочку блокнот и карандашик, решительно направилась к двери.

— Куда же ты? — взмолился Зеев Паз. — Не покидай меня!

— Ах, какие же вы нетерпеливые все! Это рядом совсем, минут через двадцать буду назад.

— Ты что, сама к Вадиму заявишься? Возьми тогда шубу. Сейчас там поземка. В январе там всегда снега и морозы.

Уже с лестницы, за дверью, Анка ответила:

— Да нет, вовсе не так это делают! Иди лучше спать, сам все увидишь!

## ГЛАВА XI

Зеев Паз бросился на кухню, раздвинул окно: там, далеко внизу, бежала к "фольксвагену" Анка. Отомкнула дверцу, завела мотор и уехала в сторону Храмовой горы.

Непонятное волнение охватило его: он вовсе не сомневался, что она вернется — предвестие какого-то освобождения пронзило его! Чувство это, казалось, вот-вот сорвет с привычных устоев все основания его души. Пытаясь постичь это чувство, Зеев Паз стал глядеть на город, мерцающий огнями.

”Ну и чудеса, ну и город! Спокойно, Зеев, спокойно, иначе чокнуться можно!... Вот висят над городом звезды, обычная полная луна. А вот ты видишь напротив гору Скопус со сторожевой башней. Говорят, что в ясный день можно видеть оттуда Иудейскую пустыню до самого Иерихона, а если обратиться в другую сторону — увидишь всю страну до Средиземного моря. Ну что же, обычная башня, очень хорошая башня!... Теперь ты видишь из своего окна Масличную гору, с садом Гефсиманским на склоне. Та самая Гефсимания, где повязали две тысячи лет назад парня по имени Иисус Христос. Церквушка там в русских, расписных куполах, сад масличный: очень хорошая Гефсимания, очень интересный Иисус Христос... Еще ты видишь из кухни своей золотой купол Наскального храма, под которым лежит камень Святая Святых, и на камне этом лежали скрижали завета, что получил Моисей на Синае, стояли на этом месте Первый и Второй наши Храмы. Да, такие вот дела творятся у тебя на кухне!.. А еще говорят, что к этому месту приходили Каин и Авель с первыми жертвами Господу Богу, приходил сюда Ной, когда окончился тот самый большой дождичек, именуемый Потопом, и тоже возносил жертвы благодарения за спасение рода человеческого и всего на земле живого. А потом приходили сюда Авраам и Ицхок — первые евреи на земле — получили то самое благословение на всех своих потомков, благодаря которому я и сам пришел сейчас в Иерусалим. Да, ну и кухня, доложу я вам!... Кухонька, что надо! Так, поехали дальше! Ну, а дальше ты видишь заурядную горку, холмик эдакий, под названием

гора Сион, из-за которого столько возни в мире. И есть там могила царя Давида, а в прокопченных лабиринтах висит телефон... Кстати, куда это она звонить помчалась? Что еще за телефон такой?"

Вспомнив телефон и Анку, Зеев Паз прервал свои размышления, пошел к холодильнику. Когда он нервничал, ему страшно хотелось есть.

Тут он почувствовал неодолимое влечение ко сну. Он разбил над сковородкой три яйца, поставил вскипятить чайник. С трудом борясь со сном, Зеев Паз проглотил яичницу, выпил чашку чаю, съел кусок копченой индюшатины.

Мысли сделались вязкими, стали рваться и путаться. Нашаривая руками дорогу в спальню, Зеев Паз убеждал себя:

"А почему бы и не висеть там телефону с прямой связью на небо? В Иерусалиме все может висеть, все может быть. Подумаешь, бином Ньютона — телефон с небом! Я бы еще удивился, узнав, что существует книга жалоб на небесное ведомство, что есть на горе Сион контора по переделке мира, сидит там консультант по судьбам, есть бюро свиданий с давно отошедшими предками!..."

Вернулась Анка минут через двадцать, как и обещала.

Зеев Паз лежал на койке в спальне, погруженный в глубокий обморочный сон. Анка дотронулась до его плеча, потрясла сильнее.

— Ну вот! — сказала она. — Теперь этот псих храпит! А я — мотайся по городу, придумывай им спектакли, жги бензин казенный! Этот же чурбан ничего завтра помнить не будет.

Зеев Паз не слышал ее ворчаний, не слышал, как пошла она в ванную, напустила там воды и долго мылась — была она девушкой бедной и мылась исключительно у своих клиентов.

Не слышал Зеев Паз, как пришла она в спальню, разделась и легла рядом с ним. Ничего этого Зеев Паз не видел и не слышал, ибо весь был захвачен тем, что сейчас происходило на крутой Рошкановской горке. Поднимаясь в горку, шла к бревенчатой избе Анка. Зеев Паз задыхался, сердце его учащенно билось, вот-вот готовое разорваться. Шла она сюда, облаченная в самое лучшее манто, которое он купил ей в Иерусалиме. Это была единственная на свете Анка, та, что собирала камни для очага на маковой поляне под тянь-шаньскими отрогами, та самая, подарившая ему волшебную ночь на длинной песчаной косе у Черного моря и страсти, не испытанные ни одним мужчиной со дня сотворения мира... Ни Анка-Юдит, ни Анка-Чики, ни Анка-Пали — никто из тех грязных, дешевых блудниц, торгующих собой возле кинотеатра "Оргиль". И шла она с невыразимой скорбью на лице, отчего у спящего Зеева Пазав навернулись слезы и вырвались рыдания.

Анка подошла к калитке, ступила во двор. Потом обогнула пустую собачью будку и появилась, наконец, в избе.

Стоял здесь все тот же гроб на столе, и крышка от него по-прежнему находилась на лавочке возле печки.

— Она пришла! — послышался чей-то голос.

Зеев Паз увидел, что вся изба полна народу. Едва скользнув беглым взглядом, он тут же их всех узнал. То были иерусалимские нищие — хорошо ему знакомые — восемнадцать человек ровным счетом! Стояли они у стен, в почтительном отдалении. И лица их вовсе не казались угрюмы и замкнуты, как это бывает по вечерам, когда обходит их Зеев Паз по Яффскому тракту. Сейчас их лица светились, жили возвышенной мыслью.

Слезы у Зеева Пазав мигом высохли, прекратились всхлипывания. Он тоже проникся торжественным ожиданием этих людей. Потом стал прислушиваться к шепоту меж ними,

стараясь постигнуть тайну их превращения. И вообще, зачем они здесь?

— Ах, как идет ей это манто, коллега! — услышал Зеев Паз.

И удивился — ведь это сказал слепой слепому! Тот, что стоит на площади Цион в солдатской рубаше и черной бархатной ермолке — тому, что стоит в костюме жениха у центрального автобусного вокзала. Но, судя по возгласу — сейчас они все хорошо видели. Быть может, видели лучше всех остальных.

И тот же слепой с площади Цион добавил:

— Прошу, коллега, лишний раз убедиться: никогда не следует человеку пренебрегать никакими водами! Главное — чтоб было желание отпустить хлеб свой.

Это заметил старик, похожий на первых патриархов, которого обвиняли в субботнем курении и употреблении свинины.

— Любила! — поправил кто-то с рынка "Махане Иегуда".

— Да, — согласился патриарх. — Она так любила его! Он так измучал ее за эти три года. Наконец они будут свободны!

Все с тем же выражением скорби на бледном, прекрасном лице, с выражением муки Анка приблизилась к столу и поцеловала лежащего в губы.

Он снова заплакал, ощутив соль и сухость ее губ. Почувствовал всю горечь ее страданий, что причинил в жизни своей любимой.

— Идемте, они попрощались!

Зеев Паз увидел у гроба черных старух, которые каждый вечер стоят у больницы "Ворота Справедливости", где выдают родственникам умерших в Иерусалиме людей.

Один за другим нищие потянулись к столу. А черные

старухи — принимать от них всякую всячину и укладывать на стружки по обеим сторонам покойника.

Вот положили в гроб сиротский приют, что был на улице Тахтапуль возле чайханы: бюстик Ленина на высоком серебряном цоколе и длинную надпись по фасаду: "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!" Потом — ремесленное училище, вагончик в Голодной степи, солончак, мазар палача Чингис-хана, стадион "Динамо" в Молдавии, комнату-душегубку, где жил он на стадионе. Затем мелькнул дом на улице Пирогова с цементированными ступенями, сапожная будка на Васильевском острове, а после — целыми охапками все, что купил ему дядя Петя в Центральном универмаге на Невском, Юзина свадебная фата, обручальные кольца, балыки, усахи, красная и черная икра в фаянсовых мисках. И, наконец, — квартира на Марсовом поле и ленинградская психушка!

— Он готов, госпожа приятная Анка, — сказали старухи. — Можете заколачивать!

— Э, нет, секундочку! Хороним-то все же еврея!

И к гробу подскочил последний нищий. Развернул, как простынь, как саван — новенький, благоухающий талес и покрыл им Зеева Пазу. Потом старательно подоткнул талес со всех сторон под усопшего — в ногах и за затылком — и тоже отступил от стола.

При Анке оказались молоток и гвозди. Она еще раз коснулась губами лежащего, теперь уже через талес, но Зеев Паз и тут ощутил ее соль и горечь.

Когда крышка была забита, к столу подошли мужчины. Сильными молодыми руками подняли на плечи здоровенный гроб, будто и не было в нем всей этой тяжести, что так обременяла жизнь Зеева Пазу в Иерусалиме.

— Ступайте впереди, госпожа приятная Анка, вы лучше нас помните дорогу на Ботанику. Он просил положить его рядом с Монеи, такова была его последняя воля.

— Вы тоже идите рядом с ней! — было сказано черным старухам. — Женщинам положено всегда идти перед гробом, ибо вы производите род людской и ответственны за него!

## ГЛАВА XII

Проснулся Зеев Паз задолго до рассвета.

Давно он завел привычку вставать без будильника, чтоб лишними звуками не беспокоить своих соседей. У соседей его были сплошь автомобили, они поднимались на час, а то и позже, Зеева Паза. А стук его печатной машинки по ночам и без того доставлял им излишнее беспокойство.

Проснулся он с удивительным ощущением крылатой легкости на душе, какой-то непонятной еще радости.

Едва шевельнул рукой, был тут же озадачен: на кровати лежала голая женщина! Пораженный таким открытием, он сел, склонившись, пристально ее изучая.

”Откуда она взялась, рыбонька?!”

Была она с рыжими, жесткими волосами, выдававшими сварливый характер. А сквозь смуглую кожу лица отчетливо проступала печать ее гнусного ремесла. Словом, дешевая, грязная блудница, способная отдаться где угодно: в темном дворе, в подъезде, готовая исполнить любую животную прихоть в автомобиле клиента. А набрякшая желтизна под глазами выдавала в ней хроническую наркоманку.

Зеев Паз растолкал ее.

— Эй ты, как зовут тебя?

Женщина открыла глаза, зевнула и сладко потянулась.

— Сузи! Ну что, схоронили, пришла твоя баба?

Зеев Паз рассвирепел.

— Слушай, Сузи, катись-ка ты из квартиры, пока соседи мои не проснулись! Тут кругом одни религиозные люди. Влипну я еще в скандал. И вообще — мне на работу пора!

— Результат выше расчетного, -- усмехнулась Сузи. — Я же говорила — этот болван ничего помнить не будет!

— Ты что там бубнишь себе?

Сузи спустила с кровати длинные, худые ноги.

— Мальчика ты хоть помнишь? Мальчика, рошу на Арсенальной горке?

Зеев Паз пошел в ванную.

Плотно прикрыв дверь, он чистил зубы, чуть ли не до крови раздирая щеткой десны — никак не мог вспомнить — откуда взялась в его постели Сузи?! Вчерашний вечер куда-то пропал — что он делал вчера, где был? Господи, так нализаться, так низко пасть! Скорее всего, подсунул ему эту Сузи по пьянке какой-нибудь ловкий сутенер, а сам стоит сейчас за дверью и дожидается гонорара!

— Прошу гонорар наличными! — крикнула в спальне Сузи.

— Вчера я весь бензин казенный пожгла, без гроша осталась. Да и жрать сегодня самой не на что!

В мертвой утренней тишине это прозвучало безобразно громко. С полным ртом, набитым пастой, Зеев Паз высунул-ся из ванной и взмолился, как можно тише:

— Тс-с-с! Умоляю — тс-с-с! Я чек тебе выпишу, дома наличными не держу.

Вчерашний вечер совершенно провалился в памяти. А Сузи облачалась в трусики, брюки, рубаху и принялась издеваться:

— Так что же было с гробом? Пришла или нет? Что мне девочкам нашим рассказывать?

Судя по этой бессмыслице, Зеев Паз понял, что у нее начинается обычный утренний бред наркомана. Не задавая больше ни себе, ни ей вопросов, полагая, что весь этот

случай сам по себе всплывет в памяти, и все объяснится, Зеев Паз поспешил к шкафу за чековой книжкой.

Открыв его, он остолбенел! Шкаф был забит совершенно непонятными вещами. Долго не размышляя и над этой напастью, черт знает откуда взявшейся в квартире, Зеев Паз содрал с вешалки самую большую шубу, распластал ее на полу. Потом стал срывать все остальное и бросать в нее.

Минуту спустя, с огромным тюком на спине, Зеев Паз бежал вниз по лестнице. Сузи же вызывающе топала каблуками, по-прежнему неся всякую чушь:

— Ах, какие мы стали застенчивые! Сколько в нас нравственности! Браво, Зеев! Браво, Сузи! Чистая работенка, ничего не скажешь. Ладно, будем считать, что вышел у нас перебор, в любом деле возможен перебор. А мальчика мы берем себе! Я думаю, что этого тряпья в тюке будет достаточно на сотню еловых саженцев...

У дома оказался потрепанный, голубой краски "фольксваген".

Зеев Паз, как мог, затолкал в него тюк с шубами.

Сузи ухватила его за руку и стала смеяться прямо в лицо:

— А ты не забыл своего обещания закрутить здесь дело с ракетами и космодромом? Только вы, "русские", сможете это поднять! Для начала, советую обратиться прямо в Кнессет, прося участок в Негеве. Лучшего места для космодрома не сыщешь во всем свете! Ну, неужели ты не выручишь бедную девочку Сузи? Я так для тебя постаралась! Я просто больна космодромом...

Зеев Паз вырвался от нее и побежал к дому. Бежал, глядя пугливо на окна: не покажется ли чья-нибудь голова! Ах, до чего же все выглядело мерзко с этой девкой разнузданной, с этим тюком! Ну, просто бандит, ограбивший рано утром квартиру!

★ ★

★

В синий, рассветный час Зеев Паз ехал в автобусе на Катамон. Ехали вместе с ним школьники, арабы-рабочие, погруженные, как обычно в тяжелые размышления об уходящей родине, старики-чиновники из министерства здоровья.

Автобус тащился ужасно медленно, и это действовало на нервы: целый час пропадал впустую!

И вдруг он обнаружил, к величайшему удивлению, что во всем автобусе он один — молодой мужчина, а кругом — дети, старики да бедные арабы!

Мужчины его возраста пролетали мимо автобуса в собственных автомобилях! Должно быть, за инвалида или слабоумного принимали его пассажиры в автобусе?!

Господи! На что же он тратил все свои тысячи, куда зарплату девал?.. И стал думать, какая марка машины ему подошла бы.

Ощущая себя свежим и обновленным, будто избавился от какой-то болезни, омрачавшей ему душу и жизнь, Зеев Паз стал любоваться нежной зарей, встающей над городом.

Он увидел гору Сион на повороте у мельницы Монтефиоре. Увидел, как первые лучи солнца разносят пласты сизоватого, как слизь, тумана. Увидел на чистом, умытом небе контуры монастыря Сердца Христова, купол над могилой царя Давида.

Далеко внизу, из долины Страшного суда, тоже всплывали, тая и исчезая под солнцем, сизые слоистые туманы, лежавшие там всю ночь. И это показалось Зееву Пазу чем-то символическим. Но что именно? Не стал он ломать себе голову.

Приближался автобус к школе и надо было вспомнить, что сегодня состоится финальная встреча на первенство

школы по баскетболу между командой класса йуд-бет, именующей себя "марокканские потрошители", и командой класса йуд-алеф "красные комиссары".

Вспомнилась вчерашняя просьба вахтера Давида — включить в состав сборной Хаима Элькаяма, его любимца, для участия в городских соревнованиях. И подумал, что включит, пожалуй! Пусть побегает Хаим большие кроссы с гантелями, пусть подучится в дальних прорывах с мячом и боковых бросках по корзине... Не отказать же, в самом деле, чудаку`пейсатому, если Хаим действительно пришел в Иерусалим через два фронта и четыре границы. Целым дошел и невредимым.



## ЭТЕЛЬ ПОЗНАНСКАЯ

Мне 24 года, в Израиле - 3 года. Печатаюсь впервые. Пишу давно - сколько помню себя. Из первых стихотворений, которые сохранились в моей памяти, помню строчку:

"Братья-народы! Цепи порвем..." и т.д.

Несмотря на актуальность, не напечатали. А потом были просто неактуальные стихи. Снова не напечатали. Может, оно и к лучшему...

Пробую писать прозу. Боюсь, как бы не вышло, как с "братьями-народами"...

Сегодня еще не могу показать свои прозаические опыты, как не выставляет художник на выставке набросков к будущей картине.

*Этель Познанская*



По небу тоску несет -

Тучи, тучи серые...

Господи! За все,

за все

Я в Тебя

уверую!

Сквозь деревьев голый

строй

Я пройду — и выстою,

Чтоб предстать

перед тобой

Ясною и чистою.  
Ты меня благослави -  
Знать, дорога  
        дальняя...  
Пожелай Ты мне  
        любви  
В осени печальные,  
Пожелай Ты мне  
        добра,  
Чтоб других одаривать,  
Научи - когда пора -  
Горе заговаривать...  
Осень в зиму -  
        что в беду,  
Уплывает медленно;  
Я за осенью иду -  
Так мне велено.  
Мне - по осени  
        ходить,  
В листья  
        ржавые,  
Мне - с тоской  
        дано дружить,  
  
С горькой славою...  
...По небу тоску  
        несет,  
Тучи серые...  
Господи!  
        За все,  
        за все -  
Верую.

1971, Кишинев



Был нос у Моцарта отбит,  
 Безбожно был рояль расстроен,  
 И на рояле инвалид  
 Играл единственной  
 рукою...

...И были звуки,  
 как ножи,  
 Как камни -  
 гулки, угловаты!..

Дом над роялем, недвижим,  
 Навис  
 предчувствием утраты...

...И бились звуки о стекло,  
 Раскаивались, плача, стекла,  
 И медленно  
 по лбу  
 текло,

И гимнастерка вся  
 намокла...  
 И Моцарта одной рукой  
 На вдрызг расстроенном рояле  
 С такой погибельной  
 тоской  
 Среди глухой войны  
 играли...

*Май 1975 г.*



Упало лето желтым  
опалом,  
Звенящим золотом засыпало  
лицо!  
Пора медово-горькая  
настала  
И вышла на высокое  
крыльцо...  
Рукой махнула,  
Ласково шепнула  
Одной душе понятные  
слова,  
В глаза до дна,  
до сердца заглянула, —  
И сладко закружилась  
голова!...

*Июль 1975 г.*



Грустный мой,  
усталый мой,  
Ты бы шел себе домой...  
Только где он,  
дом-то твой?..  
Мы бездомные с тобой...

*19.1.75 г.*

# ИЛЬЯ БОКШТЕЙН

Родился я в Москве. Всю жизнь или — если угодно — всю сознательную жизнь занимался искусством. Нигде не печатался и не издавался. Считал — рановато. 5 лет из своих 38 провел в Мордовских политлагерях за недозволенные публичные выступления на площади Маяковского.



Я еврей.  
Не мадонной рожден,  
Не к кресту пригвожден,  
И тоски мне не выразить всей.  
Цепи рода на мне,  
Скорбь народа во мне,  
Я застыл у Безмолвных дверей.

## "ПОЭМА ЛЮБВИ"

Вдвоем нести любовь  
Нам тяжело,  
Но одному мне тяжелее вдвое.  
Но почему мне так не повезло?  
А может, потому,

Что сердце злое.  
А может, потому,  
Что ум глубок  
И женщину  
К себе не допускает.  
А может, потому,  
Что только Бог  
Любовью  
Совершенной  
Обладает.



Что ты так сжался?  
Это ж не ветер  
Холодный,  
Это же я пошутила,  
Это мы снова друзья.

ИЗ "ЛИРТ"

Тоска —  
Хоть бросься в прорубь.  
Смотри: на крыше вновь  
Танцует глупый голубь,  
А солнце —  
Будто в кофе  
Каленая морковь.

## ИЗ "ИНСАЙДНОЙ ПОЭЗИИ"

Пробей тоска  
Камней предел  
В пещерах тел.  
Зачем рассудок  
Дал мне Бог?!  
Простором ночи  
Стать хотел,  
Вдыхая пыль  
Ночных дорог,  
Из пыли сотканный  
Цветок.

55.

Мысль кормится  
Собственным словом,  
Оставляя скелеты  
Предчувствий.

## ИЗ СБОРНИКА "ЭЛЕГИЙ"

## ЭЛЕГИЯ № 3 К

Неуловимое дыханье  
Роднит тебя и тихий лес

Со свежей теплотой молчанья,  
С неясным трепетом небес.  
Но темнота недвижной ночи  
Наедине с самой собой  
По капле чуть заметно точит  
Тот камень, что зовут — покой.



Тона меняет моя страсть  
От огнекрасного в небесный.  
От черного досталась часть —  
Печали тихой, бестелесной.



Люблю, и, мнится, я любим.  
От неуверенной мечты  
Таюсь застенчиво-пугливо.  
Зачем любовь необозрима,  
Когда ты в ней неуловима,  
Как в ночи — легкий, нежный дым.  
Я от Безмолвья нелюдим.  
Наверно, сам себя ревниво  
Тобой представил, но с другим.

ЭЛЕГИЯ № 11 А

Я надел легковетроенник белый,  
На котором струится волна,  
И душа моя смотрит на тело,

Будто в теле теперь не она,  
Будто кто-то другой ее бросил  
В мой задумчиво-нежный тростник,  
И тростник холод тоненько просит:  
Отпусти, ты ошибся, старик.



Мы ловим узкие зарницы,  
К ним строим хрупкие мосты.  
Тоска отчаянно стучится  
У преждевременной черты.  
Но где ж конец?  
Покой нетленен,  
Лучом напомнит иногда,  
Что не вернулись Поколенья  
Из бездны Страшного Суда.

## В. ЖАБОТИНСКИЙ

### ЭДМЭ

#### РАССКАЗ ПОЖИЛОГО ДОКТОРА

— Восток? Он совершенно чужд моей душе. Вот вам живое опровержение ваших теорий о расе, о голосе крови. Я рожден западником, несмотря на предательскую форму носа. Однажды, впрочем, и я рискнул заглянуть на Восток. Может быть, тут и сыграло некоторую мимолетную роль обиженное расовое чувство. Вы знаете, у нас в Германии еще сильны некоторые предрассудки. Без ложной скромности могу сказать, что я давно заслужил кафедру; полагаю, что и ваши русские специалисты слыхали о моих трудах по анатомии. Я связан тесной дружбой с профессорами университета в нашем городе и знаю, что они с живейшим удовольствием приветствовали бы меня в своей среде. Но прусское министерство имеет свои пути и средства влияния, против которых бессильна академическая автономия. Доцентуру я мог бы получить, но согласитесь — в мои годы, с моим именем, это прямо неловко. Друзья в Берлине пробовали хлопотать, но им дали понять, что это преждевременно. Я был очень огорчен, до того, что работа валилась из рук. Вы поверите, надеюсь, что при моей практике я не нуждаюсь в выгодах государственной службы; я холост, братья и сестры имеют свои средства, а на мой век хватит с меня и денег, и почета без этой кафедры. Но все-таки я был очень огорчен. Вы спросите: но ведь есть простое средство?.. На это я вам скажу: ваших предрассудков я не разделяю, с религией и общиной давно порвал все связи, но есть вещи, которые мне эстетически противны. Оставалось одно: примириться. Так я и сделал, а чтобы развлечься — поехал на

Восток. Повторяю, возможно, что в выборе этого места отдохновения сыграл некоторую роль бессознательный протест расового чувства. Вы меня обидели, так вот же вам, назло вам еду в родную сторону моей расы. Однако же далеко я не поехал, а удовольствовался Константинополем.

Тут я убедился, что душа моя — душа западника. Рискую показаться вам человеком без чувства прекрасного, рискуя даже худшим — что вы меня заподозрите в желании оригинальничать, — я вам должен признаться, что Константинополь мне совершенно не понравился. Начиная с прославленного Босфора. Я не выношу этой яркости, этого солнца, которое не знает нюансов и полутеней, которое мажет грубыми и крикливыми красками, словно деревенский маляр. Уверяю вас, что наш Гарц или Шварцвальд изобилуют видами, которые гораздо красивее Босфора и Золотого Рога. Наше солнце утонченнее, деликатнее, *plus distu*,\* рассчитано на более благородный вкус. О самом городе нечего и говорить. Я ничего не имею против извилистых и гористых переулков, они представляют главную прелесть многих очаровательных старинных городов нашего германского юга; но при этом нужна же хоть какая ни на есть архитектура, стиль, тон. Переулки Стамбула, по-моему, просто безобразны. Со мною ходил по городу один художник и очень восхищался, но я в глубине души думаю, что это было из снобизма. А толпа! Шумная, пестрая толпа есть и в Италии, но там она всегда благородна, сохраняет и в разнообразии красок, и в гаме известное прирожденное чувство меры, никогда не превращается в то, что видишь на Востоке — в какую-то хроническую свалку воющих людей, одетых в дикоокрашенные тряпки. Нет, я и в эстетике западник, европеец. Эта закваска во мне так сильна, что даже романическое приключение, которое я там пережил, посвя-

---

\* Очень изысканно (франц.)

щено было дочери Запада и проникнуто западной мечтательностью — von einem Hauch westlicher Schwärmerei.

Ибо вы должны знать, что я там пережил и романтическое приключение, несмотря на свои пятьдесят два года, социальное положение и малую привычку к дамскому обществу. Правда, это был чрезвычайно невинный роман; переживая это приключение, я даже не подозревал его романтического оттенка и понял это лишь после развязки.

Я поселился на Принцевых островах. В сущности, жить по-человечески в Константинополе можно только в роскошных отелях Терапии и Буюк-Дере, потому что там много европейцев, мало туземцев и почти совсем не пахнет Константинополем. Но одна беда: все эти места лежат на Босфоре, и главной их прелестью считается вид на Босфор, а я вам сказал, что этот отвратительный пролив, со своим морем, размалеванным в синее, и берегами, размалеванными в зеленое, был мне нестерпим. Я поселился на Принкипо. Не спорю, хорошенький островок. Но... его следовало бы отнять у турок. Pardon, вы, кажется, туркофил; но так как я-то не собираюсь выпросить у них Палестину, то могу искренно сказать свое мнение. Если бы отобрать Принкипо у турок, да завести там европейский порядок, это был бы очаровательный остров. Я поселился в Hotel Giacomo\* и встретил ее. Ее звали Edmee, а было ей отроду двенадцать лет.

Завтрак и обед нам подавали на террасе, над самым морем, за отдельными столиками. Неподалеку от меня обедала семья французского консула; место службы его было не в Константинополе, но он сюда приехал отдыхать. Он и жена были парижане, младшие дети родились уже здесь, но Эдмэ увидела свет еще в Париже и росла там до четырех лет. Это мало, но не шутите с отпечатком Европы! Он

---

\*Гостиница "Джакомо" (франц.)

сказывается. Ему достаточно маленькой щели и крошечного мгновения, чтобы пустить свои корни, оставить свой налет. Как это происходит, я не знаю; в этом есть что-то мистическое. Эдмэ не помнила, конечно, Парижа, воспитывалась она где-то в Дедеагаче с дочерьми левантинцев, но на всем ее существе лежала печать Запада, и она казалась воплощением утонченной западной культуры *in partibus infidelium*\*

Я еще не был знаком с ее семьей, только раскланивался, но ее тотчас же заметил. Она выделялась. В нашем отеле было много левантинцев. Надо знать, что это за публика, что это за раса! Много трубят о нивелирующем влиянии Северной Америки, о ее великом котле, где перемешиваются и перевариваются все племена, сплавляясь в единый американский народ. И при этом никто еще, кажется, не заметил, что нечто подобное наблюдается в европейских кварталах Константинополя, Каира, Александрии. Туда тоже все нации сбывают свои осколки, там они перемешиваются, и создается новый народ — левантинцы. В Константинополе это племя называют специальным прозвищем—*perotte*, от квартала Перы, где живут обычно эти "европейцы". Хотите знать примерную типическую родословную средней перотской семьи? Отец — итальянец, рожденный от хорвата и шведки, мать — гречанка, рожденная от польского эмигранта и румынской цыганки; по паспорту они англичане, а в семье говорят по-французски. Представьте себе этот букет! Вообразите культурную атмосферу, в которой воспитываются дети такой семьи, эту бакалейную смесь традиций, предрасудков, обычаев, возникших под разными широтами, дисгармоничных, несоизмеримых, несовместимых! Они не могут привить своим детям ничего похожего на чувство общности, потому что эти люди живут абсолютно вне всякого гражданского обихода. У них не только нет граж-

\* В известной мере, изменник (лат.)

данских мотивов в душе, но нет и почвы, на которой могли бы вырасти civicские чувства. Возведите понятие *sans patre*\* в куб, и вы получите отдаленный намек на эту психологию с совершенно атрофированным нервом патриотизма. Отсюда глубочайший эгоизм, самодовольная тупость, полное отсутствие стимулов к общественной жизни, невежество и, наконец, простая неблаговоспитанность, всегда свойственная среде, потерявшей прочные традиции. Таковы они, таковы их дети. Эдмэ была в этой обстановке, если позволите вспомнить Шекспира, словно белая голубка среди черных ворон.

Эдмэ была блондинка; личико было у нее миловидное, не больше. Фигура тоненькая, еще совсем детская, очень грациозная. Одевали ее просто, но мило, видна была рука умной матери, хороший вкус и хороший журнал детских мод. Ее левантинские сверстницы, игравшие вместе с нею на той же террасе и в саду не мопню в какие игры, были почти все гораздо красивее; притом это были уже маленькие женщины, и одевали их нарочно так, чтобы подчеркнуть зарождающиеся женственные линии. Сами девчонки, казалось, об этом знали и поглядывали на мужскую молодежь отеля дразнящими взглядами. В этом антураже Эдмэ казалась воздушной, существом высшего разряда. Она резвилась гораздо искреннее своих подруг, с гораздо большим увлечением, потому что не думала в эту минуту о том, как бы казаться поизящнее; но выходило само собою, что она и в весельи изящнее, сдержаннее всех — более шаловлива, но не так криклива и не так резка в движениях. Чувствовалось хорошее воспитание, всосавшееся в самую кровь. Глядя на нее, я поверил в то, во что никогда не верил: что действительно бывают вполне нормальные, здоровые, даже умные девушки, которые созревают в спокойном неведении, недо-

---

\* Без Отчизны

ступные даже мимолетному прикосновению нечистой мысли, недоступны даже простому любопытству. Система воспитания, сложившаяся в течение столетий, проверенная опытом многих поколений, так направила их мысль, что она сама собой инстинктивно отскакивает от точек, которых опасно касаться. Эти девушки созревают, не замечая своего созревания; бури переходного возраста проносятся у них где-то в сфере подсознательного; они растут в здоровой безмятежности, нечто предчувствуя, ничего не сознавая, ни о чем не любопытствуя. Такою будет Эдмэ.

Но и тогда она была уже не ребенком. Я это заметил, сравнивая с ее младшей сестрой, которой было лет десять. Та иначе обходилась с мальчиками во время игры, более запросто, более беззаботно, и сама еще была неуловимо похожа на мальчика. Эдмэ уже несколько сторонилась. Молодым людям отеля она еще кланялась первая и не обижалась, когда они говорили ей ты, но я видел, что при встрече с существом другого пола в ней уже что-то инстинктивно настораживалось, подбиралось, подтягивалось. Она этого не сознавала, но я это видел. Великое притяжение, первые признаки которого, по странной и мудрой воле природы, выражаются в отталкивании, уже смутно пробуждалось в тайниках души, недоступных ее собственному взгляду. Фигура у нее еще была совершенно детская, но жесты, походка, манера, когда она нагибалась, подымалась на цыпочки останавливалась на бегу — все это уже было от девушки.

Когда я узнал ее ближе и присмотрелся к ней, мне пришлось в голову, что это, быть может, самая красивая пора в развитии женского существа. Конечно, не у всех женщин. Есть ведь и знаменитый тип девочки-подростка с красными руками и угловатыми манерами; впрочем, поверьте мне, чем дальше на Запад, чем выше по культурной лестнице, тем реже он попадается. Но есть натуры, у которых этот перелом

совершается без резкости, как бы внутренне, под кожей. У таких натур возраст подростка — самый обаятельный, самый поэтический, самый благоуханный. Я вообще того мнения, что заря лучше утра и полудня, апрель лучше мая. Именно там, где незаметно совершаются загадочные переходы природы от одного состояния к другому, там всего явственнее внятен аромат великой тайны, веяние Бога, пролетающего мимо "с волшебной палочкой в руках". Там душа твоя смутно угадывает мириады дивных возможностей, из которых, вероятно, ни одна потом не осуществится. Три прекрасные вещи создал Бог: детство, юность и женщину. Вдумайтесь, как возвышенно-красив должен быть момент, когда эти три прекрасные вещи сплетаются воедино — когда в душе и теле женщины свершается перерождение от детства к юности! Если бы я не боялся, что вы меня примите, *Gott bewahre\**, за любителя парадоксов, я бы сказал, что женщина, собственно говоря, с четырнадцати лет начинает стареть. Впрочем, может быть, это все объясняется тем, что я старый, убежденный холостяк, слишком мало женщин выдавший на своем веку. Может быть. Как хотите. Но это — мое мнение, и при нем я остаюсь.

Мы подружились. Перед закатом, когда дети переставали играть, Эдмэ приходила ко мне в сад, еще с куклой, серсо или скакалкой в руках, и мы начинали беседовать. Она говорила и как дитя, и как женщина. Болтала она обо всех пустяках детской жизни, об играх, о пансионе, мило и чуть-чуть сплетничала о своих подругах здешних и школьных, об их семьях и гувернантках, передавала свои проказы — чрезвычайно тонкие, грациозные, хорошего тона проказы; и вдруг переходила к серьезным вопросам — о добре, о зле, о Боге. Однажды она мне рассказала свои мысли об эгоизме. Ее мисс уверяет, что человек должен быть такой добрый, что-

---

\* Боже сохрани (нем.)

бы ему легче было самому умереть с голоду, чем не дать голодному хлеба. Но если так, то где же заслуга? Если творишь благо потому, что это тебе доставляет удовольствие, то разве это не тот же эгоизм? Она сама, Эдмэ, подарила однажды девочке в пансионе свою брошку с сердоликом, потому что девочка ужасно завидовала ей и плакала; но Эдмэ совсем не хотелось так поступить, она заставила себя, и потом сама всю ночь горько плакала. Если послушать мисс, то это еще не значит быть хорошей, а надо стать такою, чтобы твои руки так и рвались все отдать. Как вы думаете, кто прав? В другой раз оказалось, что она сторонница смертной казни. Казнить надо убийц и политических преступников, а кроме того, таких мужчин, которые покидают жену и детей ради новой любви. Она не понимает, что можно примириться с изменой. Когда ей в пансионе изменила подруга, Эдмэ с ней перестала говорить и никогда в жизни уже не помирится. Со своего младшего брата Андрэ она взяла клятву, что если когда-нибудь муж ей изменит, она вызовет Андрэ телеграммой из Сингапура, где он тогда будет консулом, и он убьет того человека.

Но о чем бы она ни говорила, о Лукени, который убил императрицу Елизавету, или о своей подруге Клео, которая ужасно прожорлива, она себя держала, как взрослая. Содержание беседы могло быть ребяческим, форма и манера говорили о том, что предо мною женщина. В чем это проявлялось, я не могу точно определить. *Un je ne sais quoi\**

Раз ко мне приехали два господина и провели на острове день; я их познакомил с Эдмэ, и они вынесли то же впечатление. Она не дичилась, а просто сначала присматривалась и только отвечала на вопросы, но потом разговорилась, и получилось впечатление, что это маленькая умная хозяйка занимает свой салон. Она то шутила, то становилась серьез-

---

\*Бог знает что (франц.)

на; загадывала нам загадки, расспрашивала о России (мои гости были ваши соотечественники), рассказывала о городе, где папа был консулом. Старший из моих гостей был седой старик; когда смерклось, она спросила, не сыро ли, не принести ли ему плед. Но другой был молодой человек, лет тридцати семи, с красивой бородой, и я заметил, что она несколько раз внимательно скользнула по его лицу глазами, а вообще держала себя с ним как-то осторожнее, чем с нами, избегала прямо к нему обращаться, и на его вопросы отвечала короче, и голос ее тогда звучал замкнуто.

Через неделю после этого Эдмэ пришла в сад без куклы и серсо и сказала мне, что завтра они уезжают. Мне стало невыразимо грустно, до того грустно, что я мысленно разбил себя. Что такое? Как не стыдно? С одной стороны, мне все-таки пятьдесят два года, и не мог же я влюбиться в эту девочку; с другой стороны, я все же еще не так одряхлел, как во время оно царь наш Давид, в котором только теплота чужой юности могла поддерживать биение жизни. Так я себя уговаривал, но сердце мое болело, и Эдмэ прочла это по моему лицу. Она вдруг стихла и пристально, не отводя взора и не мигая, смотрела мне в глаза; ее синие глаза совсем потемнели. Одно мгновение мне казалось, что из-под ее ресниц побегут слезы; еще одно мгновение мне казалось, что она станет коленями на скамью и кинется мне на шею. Но она не заплакала и не кинулась, а только тихо, почти неосяземо положила руку на мой рукав и сказала особенным, тихим, грудным, сосредоточенным голосом, какого я еще не слышал и не подозревал, голосом женщины, которая все и давно поняла:

— Я т о ж е буду тосковать о вас, мой единственный друг на Принкипо.

Признаюсь, у меня было движение поцеловать ей руку, но я вовремя опомнился. Я уверен, что она бы не удивилась, но я сам почувствовал, что нельзя. Я даже не погладил ее волос.

Я проглотил что-то такое, что стояло поперек горла, и сказал, лишь бы что-нибудь сказать, криво улыбаясь:

— Разве я ваш единственный друг на Принкипо, Эдмэ? А подружки ваши по играм? а Клео?

И тогда она мне ответила буквально следующее... Эти слова, что называется, еще звучат в моих ушах. Я, однако, начинаю колебаться, передать ли вам их: мне теперь только пришло в голову, что вы из них сделаете свои излюбленные выводы. Впрочем, так и быть, знаете роман, знайте и развязку. Она ответила мне следующее:

— Ах, Клео... Знаете, ведь она еврейка, этим все сказано. Я вообще за то не люблю Принкипо, что тут всегда масса евреев. Они такие вульгарные, я не выношу. А вы?

1912 г.



## В СТРАНЕ МОЛОКА И МЯСА

Дакарский аэропорт — это здорово!

Он стоит на красно-глинистой африканской земле, и где-то там, к востоку, неподалеку, начинаются тропические леса, населенные слонами, львами и крокодилами. Так, во всяком случае, должно быть... А здесь, в замусоренном, грязном здании аэровокзала чернокожие люди в длинных — до полу, просторных рубашках продают маски черного дерева, луки со стрелами, змеиные шкуры и мелкие ракушки, не так-то уж и давно служившие здесь разменной монетой.

Наш самолет дозаправляют горючим. Минут через двадцать объявят посадку, и мы полетим через океан прямо в Рио-де-Жанейро, где, как известно, все граждане ходят в белых штанах. А покамест я слоняюсь по залу ожидания, и настроение у меня немного торжественное: это ведь Черная Африка — земля страшных сказок, диких зверей, Бармалея, Иди Амина и драчливых пигмеев, земля, один из городов которой назван именем португальского пирата Лоренсу Маркиша — моего далекого предка. Город этот, судя по всему, скоро переименуют. Жаль.

Надо бы воспользоваться случаем и отправить в Россию пару открыток. Отсюда, из Африки — можно, а из Израйля — не стоит: адресатов живенько зацепят на крючок, поволокут, при случае, к КГБ и станут задавать некрасивые вопросы. На открытках, напечатанных во Франции, изображены темнокожие красотки с идеальными фигурами... Обхожу зал по параметру в поисках почтового отделения. У закрытого окошечка почты, облокотясь о прилавок, стоят двое молодых людей и разговаривают по-русски.

— Ребята, — говорю я, — где бы здесь открыточки бросить?

— Да вот, — указывает на запертое окошко один из парней и разглядывает меня изучающе.

— Так ведь закрыто...

— Дайте вон тому чучмеку доллар — он вам что хотите откроет, — объясняет русский. — Что, только прилетели? Из Внешторга, что ли?

— А я израильтянин, — легко сообщаю я. — Из Тель-Авива.

У парней такой вид, как-будто их внезапно кольнули шилом. Зорко оглядевшись, они снимаются с места и быстро уходят. Контакты с израильтянами, как видно, опасны не только в Москве, но и в Дакаре.

По радио объявляют посадку. Ну, что ж, поехали.



Преследовали они меня, что ли, эти русские темы! В багажном отделении аэропорта Рио-де-Жанейро я получил свой чемодан — черный, "под кожу" — и поехал в гостиницу "Лем-палас-отель" на Копокабана. Поднявшись в номер, я открыл чемодан, чтобы достать оттуда израильские сувениры — книжные закладки, брелки и прочую мелочь. Открыл — и... увидел тяжелое драповое пальто с фабричной маркой "Красная швея", полтора десятка банок консервов "Сайра бланшированная" и русскую книжку "Советский Союз — светоч мира и социализма". Тут я чемодан захлопнул и пригласил из фойе представителя книжно-журнального концерна "Маншетт" Зеева Гивелдера, встретившего меня в аэропорту. Выслушав мой рассказ, Зеев взял русский чемодан и опасливо, словно бы там, внутри, скрыта атомная бомба, понес его вон из номера. Через короткое время все

выяснилось: чемодан принадлежал советской гражданке, летевшей транзитом через Рио в Уругвай. А мой чемодан с сувенирами, парой белых штанов и рукописью нового романа был, к счастью, обнаружен в товарном отделении порта и дожидался меня в таможенном зале.

Пока мы возились с чемоданами, наступил вечер. Ззев и издательская девушка Анна-Лусия, оказавшаяся на поверку просто Ханой, показывали мне город из окна машины.

— Это — лагуна, — слышал я.

— Это — пляж Ипонема, а там, — Копокабана, там ты живешь.

— Посмотри вверх — это Сахарная гора.

Я послушно вертел головой и старался разыскать в небе созвездие Южного креста. Ничего у меня из этого не получалось; в северном полушарии я точно так же не мог разглядеть Большую Медведицу. Но все-таки не зря шарил я глазами по южному небу: высоко-высоко над городом, на самой вершине крутой горы я увидел гигантскую фигуру, освещенную мощными прожекторами.

— Кто ж это будет? — спросил я. — Генерал какой? Или президент?

Анна-Лусия и Ззев хохотали долго. Наконец, Анна-Лусия вымолвила:

— Это же Иисус Христос! Единственный в мире!

В каждом городе есть что-нибудь единственное в мире. У нас в Бат-Яме, например — здание мэрии с какими-то уродливыми ушами на крыше.

\* \* \*

Адольфо Блох — владелец концерна "Маншетт", простой еврейский миллиардер. Он издал по-португальски мой роман

”Присказка” и вот пригласил меня в гости в Бразилию. Родился Адольфо в Киеве и по сей день прекрасно говорит и читает по-русски.

— Когда-то меня звали ”товарищ переплетчик”, — вспоминает Адольфо. — А несколько лет назад я был в Москве и говорил с одной большой шишкой на ровном месте, из ЦК КПСС. Так он меня спрашивает: ”Где, все-таки, проходят границы Израйля?” ”Там, где есть евреи, — говорю я. — Я еврей, и мы сидим с вами в Москве. Значит, в Москве и проходит граница!”

Заработать миллиарды, судя по всему, — дело непростое. Адольфо подымается часов в шесть утра, в семь — он в административном корпусе концерна, в десять — в одиннадцатизэтажном редакционном здании, построенном знаменитым Нимайером. Домой ”со службы” он возвращается не раньше девяти-десяти вечера.

— Всю жизнь я работал как мул, с утра до ночи, и время прошло незаметно, — говорит Адольфо, и голос его звучит грустно и искренне. — Теперь я старый и богатый, и мои деньги не дают мне ничего, кроме новых денег. За всю жизнь я не успел по-настоящему обрадоваться — просто времени не хватило. А теперь уже поздно...

Сидя в роскошном ”Лем-Палас-отеле” на Копокабана, я мог радоваться, сколько мне вздумается. Все внешние признаки, способствующие радости жизни, — по замыслу владельцев ”Паласа” — были соблюдены: двое молодцов бросались у подъезда к машине, открывали дверцы и нежно выволакивали тебя наружу, двое других молодцов распахивали перед тобой широчайшие двери гостиницы, специальный плечистый молодец отбирал у тебя купленный в мелочной лавочке ничего не весящий сувенир и нес его перед тобой торжественно, как маршальский жезл, до самого твоего номера. Отборные молодницы всех оттенков кожи — от молока до сажи — пристойненько сидели в своих

вечерних платьях в кафе первого этажа и подавали тебе глазами сигналы, которые после расшифровки означали примерно вот что: "Только я могу дать тебе то, чего ты никогда не видел и едва ли увидишь в каком-нибудь другом городе мира. Оплата в долларах". И лифтеры, которые самым наисердечнейшим тоном справляются о твоём здоровье, и ключарь, который подает тебе ключ от номера с таким видом, словно просит тебя о помиловании, и целая бригада коридорных, готовящих тебе постель, убирающих, вытирающих пыль, заботливо пополняющих запасы в твоём баре... Пожив неделю "сладкой жизнью", я заскучал сердцем.

— Мне б куда-нибудь съездить... — сказал я Адольфо. — В Амазонию, туда, где рыбы поют на Укаяли. Там, я слышал, на днях индейцы сожрали белого человека.

Они сожрали его в районе Манауса — убили отравленной стрелой, как утку, сварили и съели. До того, как попасть в котел, он работал в правительственном департаменте, занимающемся делами диких индейцев. Когда я спросил Адольфо, потащат ли людоедов в тюрьму, он только руками замахал:

— Что ты говоришь! Индейцев нельзя сажать в тюрьму — они же ничего не понимают!

Человека сожрать — это они понимают, а в тюрьме посидеть — не понимают. Забавно, черт побери...

В Манаус, к сожалению, я так и не попал, а поехал в бразильский "маленький Чикаго" — в Сан-Пауло.

В Сан-Пауло живет около десяти миллионов человек, и встретить в этой гуще еврея — дело совсем не исключительное. Так что евреев живет в Сан-Пауло немало. Коммерсанты, университетские профессора, короли "шматэ-бизнеса", журналисты — много среди них евреев. Главный специалист по ядовитым змеям в Институте змей — тоже еврей. Его

коллега — специалист по ядовитым паукам — тот не еврей. Что лучше — змеи или пауки — не скажу, не знаю. Пауки там, в террариуме Института — размером с добрую консервную банку.

Собираются наши евреи в своих клубах. Этих клубов в Сан-Пауло — несколько, в одном из них я был. Клуб — это целый маленький городок с населением в несколько тысяч человек. Тут и три бассейна, и теннисные корты, и огромный баскетбольный закрытый зал, и библиотека, и зал для собраний мест этак на семьсот-восемьсот, и рестораны, и карточные залы, и чего только нет... Даже оборудованная по последнему слову сауна. Евреи там парятся, неевреи — парят.

Непыльно живут евреи в Бразилии. Сегодня — непыльно. А что завтра будет — никто не знает. Сегодня антисемитизм почти не чувствуется. Но евреи частенько задумываются над тем, что слишком уж хорошо живется им в Бразилии; и это дурной знак. Не может быть еврею бесконечно хорошо в галуте. Долго копить, а терять — недолго. Левые всех мастей и расцветок сегодня не в почете в Бразилии. Произнести вслух слово "коммунизм" считается признаком дурного тона — как если бы кто-то взял да издал некрасивый звук в обществе. Средний бразилец упивается футболом и самбой, день 1 Мая ассоциируется у рабочих, служащих и безработных с грандиозным футбольным спектаклем на стадионе Маракана. При первых же звуках первомайской бесплатной самбы бразильцы всех возрастов начинают почти дымиться... Но изменись что-либо в политическом курсе Бразилии — и евреи первыми почувствуют это на своей шкуре. Повторяется история или не повторяется — но слишком много схожих примеров видели мы за последние две тысячи лет.

А сегодня — все в порядке, почти все в порядке.

Но не в инстинктивном ли ожидании туманного и пасмурного "завтра" евреи отдают своих детей в школы с

обязательным изучением иврита? Все меньше в Бразилии молодых евреев, говорящих на идиш, все больше — понимающих иврит. Но уже появились наемные охранники у дверей еврейских школ...

Богатая страна Бразилия, самая лучшая страна в мире — для богатых бразильцев. Земля без конца и края, неведомые границы проходят где-то в тропических зарослях, населенных непросвещенными людоедами, неподсудными государственным законам. Земля, по которой бродят миллионы и миллионы голов полудикого скота. Земля, не знающая войн...

Едва-ли кто-нибудь из бразильцев — за исключением, разве что, немногочисленных профессиональных военных — сумеет отличить по реву двигателей гражданский самолет от военного. Едва ли заставит кого-нибудь насторожиться сигнал воздушной тревоги — разве что удивит. Старенькая подводная лодка ежедневно, в три часа дня, пересекающая Лагуну в Рио — согласно какому-то традиционному церемониалу — привлекает внимание ротозеев-туристов; даже бразильские мальчишки не обращают на нее ни малейшего внимания. Война? Нет нигде в мире никакой войны, это все выдумки! Самба — есть, футбол — есть, а голод есть только на Севере, но это очень далеко. Какая еще тут война?!

Кто знает точно, что случится завтра? Быть может, только знаменитый черный колдун, приехавший в Рио на гастроли из Байи. Черный этот колдун, упакованный в белоснежный кружевной конверт, в какие укладывают обычно новорожденных детишек, лежит себе на мозаичном тротуаре Копокабаны. К запястью колдуна привязана кожаным шнуром крупная птица с тяжелым и длинным — вполтуловища — клювом. Вдоль щели клюва, по всей его длине, нарисованы яркими красками зубы — интереса ради. В правой руке колдун держит большую бухгалтерскую книгу, куда желаю-

щие вступить в контакт с потусторонними силами заносят свои просьбы и вопросы. Желających много — целый хвост. О чем они просят, о чем спрашивают? О завтрашнем дне, надо полагать...

\* \* \*

В Аргентине завтрашний день виден более отчетливо. "Хорошо не будет" — это понимают даже смышленные еврейские младенцы.

Понимают это и руководители мощной и влиятельной Буэнос-Айресской общины. Антисемитизм усиливается день ото дня и принимает угрожающий характер, многочисленные экстремистские группировки баламутят народ, инфляция захлестывает страну. Евреи, правда, покамест еще не ходят с сумой и не голодают — но ведь не мясом единым жив человек... Антисемиты грозили взорвать кинотеатры, в которых демонстрировался фильм о героическом освоении еврейскими фермерами диких пампасов Аргентины — что вы на это скажете?!

И все-таки там, в пампасах, куда спокойней, чем в столице. Там живут крепкие еврейские гаучо, соль земли. Там свято соблюдаются еврейские традиции, и под пончо с ламами бьются еврейские сердца. Я, израильтянин, должен поехать на край земли, в Мозес-Виль, и познакомиться с настоящими евреями. Для удобства я могу даже называть Мозес-Виль на иврите — "Кфар-Моше", никто не будет против. Там, в пампасах, у каждого еврея есть по пятьсот коров, и двенадцать синагог есть у них, и постоянный семинар для подготовки учителей в еврейские школы. А — главное — там есть "идишкайт", и этим сказано все!

И я отправился в Мозес-Виль — вначале самолетом до Санта-Фе, а оттуда автобусом, который часа через четыре доставил меня в край мяса, молока и "идишкайт".

От окраины до центра Мозес-Вилия идти недолго —

быстрым шагом минут пять. Узкие улочки обстроены маленькими старыми домишками с подслеповатыми окнами — домишки эти построены в прошлом веке на деньги барона Гирша. Куры, кошки и собаки лениво расхаживают по улицам. На что-то это все очень похоже — и чего-то нехватает глазу... Ах да — коз, белых местечковых коз! О таком вот мрачном каменном домике-склепике, наверно, страстно мечтал мой дед — портняга из волынского местечка. Но вот коз, действительно, не видать — их здесь заменяют коровы. А где же наши местечковые детишки, вечно унылые от преждевременной и непосильной книжной долбежки — будущий цвет и надежда галута? Вот один из них, он завернут в одеяло, он сидит на руках у толстой, опоясанной собственной грудью старухи.

— Карл-Янкель! — кричит, играя, старуха. — Кто здесь Карл-Янкель?

И мне вдруг становится до ярости обидно, что зовут этого мальчика Карл-Янкель — а не Моше, или Амихай, или Гад, и что живет он в аргентинском Мозес-Виле, а не в израильском Кфар-Моше.

В Мозес-Виле — 1 200 евреев. С одним из них я встретился на центральной площади, залитой асфальтом. То был большой, мощный старик с огромными кистями рук, распластанными работой. Старик был одет в пончо и широченные гаучские шаровары, заправленные в сапоги. Мы зашли со стариком выпить во чашечке кофе в бар, принадлежащий аргентинцу.

— Я слышал, вы из России? — спросил старик, путая русский с идиш и помогая себе руками.

— Ну, нет, — сказал я. — Я, слава Богу, израильтянин.

— Значит, вы из Израйля, — сказал старик. — Как там живет этот, ну, как его... Солженичкин, Шмолженичкин... этот писатель... Он каждый день ходит в синагогу?

Я слегка опешил.

— Солженицын — русский человек, — сказал я, — и верующий христианин. Он живет в Швейцарии.

— Вы мне будете рассказывать! — хитро подмигнул мне старик. — Вы мне его не защищайте! Я знаю точно!

— А вы каждый день ходите в синагогу? — спросил я. Спорить со стариком о Солженицыне было делом явно бессмысленным. Он ведь знал точно.

— Я не хожу в синагогу, — сказал старик. — Но у нас здесь есть двенадцать синагог!

— А миньян у вас есть?

— Только по субботам, — сказал старик. — В главной синагоге. Я туда прихожу на Емкипер.

— Вы придерживаетесь кашрута?

— Да что вы! — оживился старик. — У меня есть пятьсот коров, или шестьсот, и я каждый день ем настоящее мясо, сколько захочу.

— А у нас в Израиле вы когда-нибудь были?

— Что мне там делать? — старик пожал необъятными плечами. — У меня и здесь все есть. Вы же слышите: у меня пятьсот коров, а, может, и шестьсот.

— А сколько стоит корова?

— Какая? — спросил старик, уже с профессиональным интересом.

— Обыкновенная, — сказал я. — С рогами, с мясом и с дерьмом — вся.

— Пятнадцать долларов, — назвал старик. — У меня есть такой дом, какого вы никогда не видели! Идемте, погляди-те.

Дом старика оказался угрюмым кирпичным кубиком, обмазанным серой известкой. Не обнаружив восторга в моем лице, старик решил нанести мне последний удар.

— И в прошлом году я купил — вы знаете что? — старик выдержал эффектную паузу. — Стиральную машину! Моя

Рейзл всю жизнь стирала в корыте, а теперь она прямо-таки не вылезает из этой стиральной машины!

— А электродойка у вас есть? — спросил я и усмехнулся.

— Немножко, — насторожившись, неопределенно ответил старик. — Лично я всю жизнь доил руками, — он вытянул перед собой огромные, с глубокую тарелку, ладони. — Теперь я не дою. У меня есть на ферме гои, они доят.

— Если бы вы с такими руками жили у нас в мошаве, — сказал я, — вы бы уже давно купили себе небольшой дворец, и в каждую комнату поставили бы по стиральной машине.

Но старик мне не поверил — это было очевидно.

В тот вечер я встретился со многими евреями Мозес-Вилья. Все они с гордостью рассказывали о своих коровах, синагогах и "идишкайт". Все они сравнивали свой Мозес-Виль с дореволюционными российскими местечками — там у них были всего-навсего козы, а о стиральных машинах никто и подумать не мог. А вот с израильскими кибуцами и мошавами они Мозес-Виль почему-то не сравнивали: говорили все больше о России, из которой бежали, а не об Израиле, до которого не дошли.

Переночевал я в какой-то гостиничке, которую уместней было б назвать корчмой: душевая не работала, на несвежем постельном белье чернели уже почти забытые после России клопные следы... Можно, конечно, и не мыться пару дней, и переспать на полу, подложив под голову башмаки; это все не беда. Только чего ради?

На раннем, холодном рассвете автобус увозил меня из Мозес-Вилья. Пыль грунтовой дороги врывалась клубами в окна автобуса, и вместе с пылью — затхлый, душный, горький запах галута.

Подпрыгивая на заднем сиденье, я думал об этой сочной земле мяса и молока. И о том, что через пару дней возвращаюсь домой — на прокаленную солнцем, начиненную порошком землю, сочащуюся молоком и медом.

## К 80-летию

### ПЕРЕЦА МАРКИША



Чтить память мучеников — как это просто звучит и как это, на самом деле, неоднозначно и мучительно сложно.

Там, в Москве, в Кишиневе, в Словуте, в Свердловске, как это ни парадоксально, все было гораздо легче. Чтить и помнить означало ненавидеть, никогда не прощать, хранить и копить волю к исходу. Последнее — воля к исходу — отличало нас от многих поколений наших отцов и дедов, которые — после погрома, предав своих мучеников земле или воле Божией, в зависимости от "милосердия" погромщиков — бежали куда глаза глядят, чтобы хоронить новых убитых в новых местах или вернуться в старые, разоренные и оскверненные, как только ярость господина поутихнет, и кровь на его руках подсохнет. В том не было их вины, ибо и выбора у них не было. Но по нынешним временам и обстоятельствам, когда советское еврейство каким-то великим чудом обрело свободу воли и выбора, уходящий совершает поступок, не только

национально, но и морально ценностный. Потому что, если произошло преступление, в нем повинен не только насильник, но и жертва: смиряться с насилием, значит, соучаствовать в нем. Я не сужу остающихся, не смею судить, но я утверждаю: по общему счету, с точки зрения вечности, если угодно, их выбор худ, плох, он оскорбляет память наших мучеников. Он оскорбляет и наши национальные традиции. Недаром тысячи и тысячи раз на протяжении жизни наши предки вспоминали Исход из Египта и повторяли: "Рабами мы были". Были! Но больше не будем. Так не будемте же, в самом деле! Не будем больше лепить и обжигать для них кирпичи, строить станки и машины, писать книги, изобретать, танцевать, ваять! Я не сужу остающихся, но я утверждаю: исход есть заслуга сам по себе, безотносительно ко всему последующему, заслуга и приношение на безымянные могилы наших мучеников.

Все это элементарно, почти банально. Раздумья, трудности и ошибки начинаются с обретением свободы. Потому что свобода — не только величайшее благо, но и великая тяжесть, великое искушение. Вместе со свободой мы обретаем моральную ответственность, неведомую рабу, и теряем инстинктивную, нерассуждающую солидарность чувств и реакций. И это вполне понятно: жить общею ненавистью несравненно легче, чем общею любовью. И нет больше универсальных рецептов и универсальных

решений, и чувство универсального долга отступает перед индивидуальными заботами. И это не только неизбежно, это правильно, потому что долг взбунтовавшегося раба навязан ему жестокостью хозяина, долг свободного вырастает свободно из глубины индивидуальности, личности, а у нас, вчерашних рабов, индивидуальности нет, надо ее вырастить, воспитать, а это трудно, и от ложных шагов не уйти. Но, ошибаясь и оступаясь в поисках, будемте помнить наших мучеников, постоянно озираться на них, потому что наши грубые и непоправимые заблуждения — это поругание их памяти. Ведь если мы здесь, так это потому, что их нет. Горе и позор не только нам, позор и их тням, если мы не сумеем выжечь и истребить в себе жадную, корыстную и безответственную тварь — советского человека, если останемся потеряннм поколением, потеряннм для Израиля и для свободного человечества.

Симон Маркиш

*(Из выступления на траурном митинге в Тель-Авиве)*

# ПЕРЕЦ МАРКИШ

## ИЕРУСАЛИМ

Дрожат холмы под небом огневым,  
Как вспухшие горбы большого каравана,  
Всей древностью живой взывая непрестанно,  
Устами язв своих крича: "Иерусалим!.."

А небо грозное!.. Молчит оно так странно,  
Вдохнув, как мошкару, годин горящих дым...  
Над скорбною землей, над городом святым -  
Засилье торгашей, свистящий бич тирана.

Священная земля годится для продажи, -  
С конями, с овцами и тысячами слуг,  
С божественным огнем, с великим прошлым даже!

Крестами скован шаг, и тяжек твой недуг,  
И пастухов мольба всегда одна и та же:  
Чтоб море мертвое взыграло бурей вдруг!..

1924

С идиш.

Перевод

Ю. Александрова

## ИЗ ПОЭМЫ "СОРОКАЛЕТНИЙ"



Привет тебе, сорокалетний! Шолом!  
К тебе мы стремимся, к тебе мы идем.

Над песней твоей, устремленной вперед,  
Пусть вспыхнет мой разум, наступит черед.

Я полон. Я полон свечением луча.  
Кувшин мне не отягощает плеча...

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Сегодня и солнце, и хлеб, и вино,  
И море, и поле мне было дано,

И слов неизбежных железная нить -  
Все было со мной, что должно было быть.

Все!.. Но не увидел я муки твоей,  
В обильном застолье, среди шумных людей.

Рука твоя твердая, жаждущий взгляд  
Стол праздничный этот не благословят.

Вино я разлил, опрокинул я стол,  
Я к муке твоей обнаженной пошел,

К источнику света в дверях бытия -  
К тебе, одинокий, отправился я.

Как агнец к ножу без боязни идет -  
Пусть так с зарею взойдет мой черед.

А если ты выдуман, нет тебя - пусть  
Останется мною проложенный путь.

*Перевод Д. М.*



Идет этот день с золотым решетом,  
И солнце дрожит в решете золотом,

И сеется солнечный свет с высоты  
И вдруг зажигает в долине цветы.

А может быть, день только чудится мне?  
А может быть, день только вижу во сне?

Не ночи ль серебряное колдовство  
Навеяло, наворожило его?

Ночною прохладой наполнилась грудь,  
Трепещет на море серебряный путь,

От края до края струится сквозь мрак...  
К тебе я приду и скажу тебе так:

— Разбиты преграды, свободны пути, -  
По водам, по воздуху можем идти.

Свое и чужое теперь ни к чему,  
Легко, как рубашку, печаль я сниму.

Пойду я серебряной этой тропой,  
Измученных тьмой поведу за собой.

Придите же, братья, я жду вас давно.  
Кто, чей и откуда - не все ли равно!

Не все ли равно мне - откуда и чей,  
Поверим сиянью счастливых лучей.

Для каждого щедро долина цветет,  
Пусть радостью будет ваш путь, ваш приход.

Перевод А. Ахматовой



Петляют, бегут одиноко ручьи.  
Никак не сольют они струи свои.

На каждом — кораблик, но, пенясь, вода  
Кораблики те не несет никуда.

Мечтают ручьи о глубокой реке.  
А море раскинулось невдалеке.

Громады железные в море видны.  
Их клотики — в тучах, в пучине винты.

Ручьи о камень изрезали грудь:  
"Скорей бы домчаться и в море нырнуть!"

Изранено сердце. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Я вывесил флаги на лодке моей —  
Приветствовать все пароходы морей.

Я поднял восторженно все паруса —  
Улавливать дальних ветров голоса,

Зажег я огней разноцветную гроздь...  
Но здесь мой корабль — незначительный гость.

Стоит он в сторонке, на месте одном,  
С поломанной мачтой, с проржавленным дном.

Мой бедный кораблик, уткнувшийся в ил,  
О море забыл и о ветре забыл.

В безветрии выцвел от времени флаг...  
И не утонуть, и не выплыть никак.



Не видно церквей, и псалмов не поют—  
Но толпы монахов в долине снуют.

От каждого шага их гноем смердит.  
Закона фитиль в их кадилах чадит.

Они появляются из темноты —  
Глаза их косят, перекошены рты.

За каждый вопрос, за улыбку, за грусть —  
Главу из закона прочтут наизусть.

Их плечи покаты, их лица — как мел.  
Им злобными быть их устав повелел...

Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак  
К тебе я взойду и скажу тебе так:

— Пусть ночь отступила от белых ворот —  
Но красная темень курится, ползет.

Звезда — в рукаве, а за пазухой — ночь, —  
И шепчут монахи — молчать им невмочь.

Они обещают убить темноту —  
И так засыпают в холодном поту.

Любовью слепой свою веру любя,  
В экстазе они оскопляют себя.

Они вездесущи. Вошедши во вкус,  
Мстят людям за смех, а клопу — за укус.

Но день побеждает, но даль весела —  
И солнце сжигает монахов дотла.

Перевод Д. М.

1921

Л. ЯГМАН

## **СИОНИСТЫ В СОВЕТСКИХ ПОЛИТЛАГЕРЯХ**

Проблема межнациональных отношений в СССР и государственная политика в этом вопросе всегда вызывала большой интерес в Израиле, так как это непосредственно касалось положения второй по величине еврейской общины в диаспоре. Поэтому данной теме посвящено достаточно большое количество публикаций. Мне бы хотелось попробовать осветить одну, довольно специфичную, сторону этой проблемы — межнациональные отношения в советских политлагерях. Последние годы в советских лагерях постоянно находятся евреи, осужденные за свое желание выехать в Израиль. Как складываются в лагере отношения между евреями-сионистами и другими национальными группами? Каково отношение к ним со стороны администрации? В чем особенность положения сионистов в лагере? Это круг вопросов, который, мне кажется, поможет получить представление о межнациональных отношениях в политлагерях.

До 1971 года в советских политлагерях находились только евреи-одинокки, осужденные, как правило, за участие в демократическом движении. После сионистских процессов 70—71 гг. в лагерь прибыла сразу большая группа сионистов (около 30 человек). Практика советских карательных органов заключается в том, что людей осужденных по одному

делу, размещают в разные лагеря, но наличие только 4 зон п/зк (плюс зона особого режима и женская) не позволила разбросать всех сионистов поодиночке. Таким образом, в 1971 году во всех политлагерях появились группы сионистов достаточно большие (по 5-10 человек) и монолитные, чтобы стать фактором, с которым окружающим приходилось считаться.

Несколько слов о том, что из себя представляют в настоящее время политлагеря в СССР. (Учитывая узость темы данной статьи, я не буду касаться условий содержания, а затрону только вопрос национального состава). Приблизительно половину заключенных составляют люди, осужденные за участие в национальных движениях в период после 1945 года: на Украине — "бандеровцы"; в Литве, Латвии и Эстонии — "лесные братья". Очень многие из них осуждены на 25 лет, а есть и такие, которые за побег, участие в лагерных восстаниях (в сталинский период) получили добавочный срок и находятся в лагерях уже более 25 лет. Другой значительной (в количественном отношении) группой являются люди, осужденные за сотрудничество с нацистами в годы второй мировой войны. Представители этой разношерстной по национальному составу группы обычно самые доверенные люди у администрации, ведь тут все ясно: раньше, спасая свою шкуру, они убивали "жидов и коммунистов", теперь, опять же спасая уже изрядно постаревшую шкуру, они помогают "перевоспитывать" тех, кого коммунисты считают своими врагами, а среди них первый — опять же знакомый "жид", только теперь его почему-то называют сионист или "марксист" (так в лагере называют демократов). Третьей и самой важной, на мой взгляд, группой являются так называемые "антисоветчики", то есть люди, осужденные за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Как правило, именно эта группа определяет политическую активность зоны, ее способность бороться за право на отличное от официальной дог-

мы политическое убеждение, за право на человеческое достоинство даже за шестью рядами колючей проволоки. И по национальному составу и по политическим взглядам эта группа очень неоднородна и результаты ее борьбы зависят прежде всего от того, насколько общие интересы будут превалировать над интересами узконациональными или партийными.

Существуют в лагерях еще незначительные группы бывших уголовников по разным, часто неясным, причинам попавших в политлагерь, и солдат, пытавшихся бежать за границу. В большинстве своем это совершенно аморфная масса, не имеющая никаких взглядов. Хотя и среди них встречаются люди, которые обретают в лагере политическое лицо и становятся на путь активной борьбы.

Положение сионистов в лагере отличается целым рядом особенностей, которые определяют их отношение к окружающим и отношение окружающих к ним. Первая и самая главная особенность положения сионистов в лагере заключается в том, что они были победителями в своей борьбе за право евреев СССР на выезд. Действительно, ведь в результате реакции мирового общественного мнения на сионистские процессы 70—71 гг. советское правительство было вынуждено разрешить выезд евреев из СССР. Пусть медленно, пусть неохотно, но вопрос выезда был сдвинут с мертвой точки. Пожалуй, впервые в истории советского государства группа людей заставила власти выполнить их требование. Значение этого факта трудно переоценить, ведь он показал всем, что советскую власть можно заставить считаться с другим мнением, что борьба с ней не так безнадежна, как казалось раньше. Реакцией на успех евреев послужила активизация национальных настроений на Украине, в Армении, Литве и Средней Азии; началось движение за выезд из СССР советских немцев, новый толчок получила борьба за восстановление прав крымских татар. Чувство удовлетворения,

понимание того, что жертвы, принесенные ради выполнения такой великой задачи, как алия из СССР, не напрасны — вера в то, что как бы долг ни был путь к Израилю мы будем там все равно, давали нам силы, наполняли нас ответственностью — мы считались в лагерях представителями Израиля и обязаны были нести это трудное, но почетное бремя. Сионисты в лагере — это одна община — один за всех и все за одного; это люди, которые не идут ни на какие компромиссы с администрацией; они не предадут, не подведут, на них можно положиться во всем. Положение администрации лагеря в отношении сионистов было довольно щекотливым. Зная, что они не собираются жить в Советском Союзе, что у большинства из них семьи находятся уже в Израиле, она не могла заниматься выполнением одной из основных задач советской пенитенциарной системы — перевоспитанием. А это уже дурной пример для всей зоны, поэтому — *"Divide et impera"* — "разделяй и властвуй". И в ход идут испытанные средства: распускаются в лагере провокационные слухи — "советская власть готовит амнистию для лиц, участвовавших в войне 41—45 гг., но жидаы составляют списки тех, кто сотрудничал с немцами, чтобы помешать амнистии". В беседах с заключенными дежурный вопрос: "Что у вас общего с сионистами (евреями, жидами — в зависимости от собеседника), они вас втянут в неприятности, вы попадете в тюрьму, а они, как всегда, останутся в стороне, они за свою деятельность получают деньги, имеют счета в Швейцарском банке, а вы, дураки, идете у них на поводу". В беседе с сионистами аргументы другие: "Мы понимаем, что вы не собираетесь жить в СССР, никто вас держать не будет, кончите свой срок и уезжайте, только сидите тихо, не вмешивайтесь в наши внутренние дела, выполняйте все требования администрации и все будет в порядке". А требования администрации простые: вместе собираться нельзя; бороду носить нельзя; писем из-за границы получать нельзя, в них "искажение совет-

ской действительности” и т. д. в таком же духе. Естественно, что мы не могли с этим согласиться. Попытки играть на антисемитских настроениях, как правило, не давали результата, так как наиболее сильно они проявлялись у лиц, сотрудничавших с нацистами, которые не представляли из себя единой группы и поэтому не определяли настроения в зоне. Что касается националистов старых и молодых, а также других категорий з/к, то, независимо от их истинного отношения к евреям, они понимали, что на данном этапе, в данной ситуации общность судеб толкает их на единство с сионистами. В политическом лагере большую роль играют национальные землячества, которые строятся на принципе не только национальной, но и политической принадлежности. Поэтому, например, украинцы, служившие в немецкой полиции, мало контактируют с ”бандеровцами”, а русские, которые в лагере составляют национальное меньшинство, вообще мало склонны к образованию национальной группировки. В этом плане землячества сионистов были наиболее сильными, так как нас объединяли национальные и политические принципы. Несмотря на различные препоны, чинимые администрацией, мы отмечали все еврейские праздники. И не важно, что на Песах у нас не было мацы, и что часто мы не могли собраться в нужный день и переносили празднование на другое время; важно другое: все видели, что у сионистов праздник и они вместе, и пусть вполголоса, но они поют свои, еврейские песни. Мы старались, по возможности, заниматься ивритом и часто пособиями нам служили письма на иврит из Израиля. А телеграммы-поздравления к праздникам с сотней подписей и письма из США, Англии, Франции, Канады и других стран демонстрировали перед всей зоной и администрацией солидарность евреев всего мира и укрепляли наши позиции. Не имея возможности разобщить, сломить сионистов, советские карательные органы пошли по пути усиления репрессий в политлагерях, многие сионисты переведены из

Л. ЯГМАН

лагерей в тюрьмы. Одновременно, считая сионистов нежелательным элементом в политлагерях, власти теперь за сионистскую деятельность посылают евреев в обычные уголовные лагеря, поодиночке, инкриминируя им все что угодно, и таким образом решается проблема наличия сионистов в политлагерях, а вместе с ней и "еврейский вопрос".



# ЯАКОВ БЕРНШТЕЙН КОЭН

## ИЗ КНИГИ "МОИ МЕМУАРЫ"

### ИСТОКИ

В 1893 году Турция смягчила запретительный эдикт об эмиграции в Палестину, и евреи вновь направились в Эрец-Исраэль. Осенью 1894 года барону Ротшильду, после многих трудов, удалось добиться разрешения на въезд в Палестину для 1200 семей. Недалеко от колонии Реховот, созданной русскими евреями на акционерных началах, было куплено немало земли и основаны колонии Хедера и Айн-Цетун. Рядом с Реховотом подготовили и поселок к приему колонистов, которых германский союз "Эзра"\* на вербовал из опытных палестинских рабочих. Вблизи Микве-Исраэль устраивается подобная же колония английскими и французскими Ховевей-Цион,\*\* и вот интернациональный съезд решает организовать громадную земледельческую колонию исключительно из палестинских рабочих (Кастиния). Участок этот занимает 10 000 дунамов, и на нем решают поселить около 50 семейств. Американские Ховевей-Цион и Шовей-Цион\*\*\* также приобретают для целей колонизации участок земли в 30 000 дунамов. К 1895 году около 6,5 квадратных миль земли (375000 дунамов) уже принадлежат евреям; часть из них уже обработана, и 20 колоний, заселенных пахарями, свидетельствуют, что на тощей, пустовавшей целые века почве, можно, при любви и желании,

---

\*Помощь (иврит)

\*\*Любящие Цион (иврит)

\*\*\*Пленные Циона (иврит)

создать цветущие сады. Число постоянных рабочих на землях этих, однако, меняется, и не более 5 000 поденных рабочих являются к тому времени элементом надежным, постоянным. Они занимаются, преимущественно, земледелием, но постепенно вводят и другие отрасли добывающей и обрабатывающей промышленности. Усиленно ищут рынки сбыта (ввоз и вывоз растет изо дня в день). Барон Ротшильд строит в Рош-Пина фабрику по производству шелка; в колонии Ессод-Гамаале устраивается фабрика духов и эфирных масел, в Тантуре — стеклянный завод, в Зихрон-Якове — паровая мельница.

Налаживается мало-помалу и общественное устройство: некоторые колонии имеют уже своих врачей, а где их нет, там прибегают к помощи врача ближайшей колонии. Для более трудных больных имеется, хотя и бедная, больница в Яффо, поддерживаемая союзом "Бикур-Холим".

В каждой колонии есть школа, где все предметы преподаются на иврите, да и разговорный язык у детей — исключительно иврит. Для детей, закончивших школу, имеется нечто вроде гимназии в Яффо — так называемая яффская школа. Для дальнейшего самообразования устроена всемирная библиотека, для коей пожертвована масса книг многими евреями диаспоры.

И вот как характеризовало цель палестинофилов к тому времени большинство "практических" деятелей: "Цель палестинцев состоит не в том, чтоб все евреи из всех стран мира переселились в Палестину и хитростью или просьбами основали там еврейское государство, но, главным образом, в том, чтоб избыток евреев из государств, переполненных ими и вызывающий вследствие невольной усиленной борьбы за существование повод к протесту против еврейства вообще, получил хорошее надежное место для эмиграции, да и нашел бы там же здоровое ядро, которое дало бы другой смысл, другое направление его жизни и его задачам существ-

вования. Этот избыток должен не сразу, но спокойно, на свои средства или с помощью собранных сумм, переселиться постепенно в Палестину, так тесно связанную с судьбами всей еврейской истории и представляющую единственный магнит, могущий прикрепить наших рассеянных собратьев к земле. Если мы позаботимся о качестве наших первых 10-20 тысяч переселенцев, мы создадим крепкое ядро, так сказать, позвоночник, остов будущего тела нашей нации. И тогда к этому остову, как к центру, со временем пристанут и мясо, и все рассеянные части великого организма нашего народа. Тогда нам нечего будет бояться там и сям вспыхивающих погромов и притеснений: мы всегда найдем "уре-миклет", где нас встретят свои же братья с открытыми объятиями и научат нас новой жизни, служащей усовершенствованием нашего древнего земледельческого порядка".

Так писали евреи Австрии и Германии, так проповедовал французский раввин Цадок Кан, и на их речи глубокомысленно, с одобрением кивали Самуил Могиливер и Авраам Гринберг из Одесского комитета. Все они мало задумывались над уроками истории возрождающихся государств мира, если вообще следили за ними со вниманием.

Они упускали из виду, что никогда в мире ни один народ не завоевал территории и прав "на свои средства или с помощью собранных сумм", что никогда народное массовое движение не велось без ведома и участия самых широких масс. И вместо широкого идеала автономного государства, которое было бы образцом для восточных народов и специально арабов, эти "практики", довольные "малым", подсовывали движению уродливый идеал паллиативного "уре-миклет", города-убежища на худой конец, чтоб не бояться погромов и насилий. И фантазия их венчала это именем остова, позвоночника, который когда-нибудь притянет к себе, как магнит, и мясо, и тело, и всю плоть нашего народа. Непоправимая фантазия народа-странника с его абстрактной

политикой! И эта блестящая будущность им представляется в виде организованного образцового земельного порядка, являющегося усовершенствованной копией старых наших моисеевых устоев. Как будто времена не изменились ничуть, экономика осталась та же, что была во времена Моисея, и вся долгая история веков ничуть не изменила порядка и условий жизни вселенной. И для всего этого требуется лишь тщательный отбор 10-20 тысяч первых поселенцев. Кто ручается, что отбор будет удачен и кто гарантирует, что условия жизни в Палестине не создадут из "идеалистов" неисправимых "реалистов" и эгоистов? Вся эта выпренная диалектика казалась мне бесплодной мечтательностью лиц, не привыкших делать историю или составлять платформы и программы.

Но, несомненно, вся эта работа "практиков" подготовила путь Герцлю, она очистила широкую дорогу и пробила "тропу" для массового шествия на родину. Еще Пинскер в своей знаменитой "Auto-emancipation" видит спасение Израиля в широкой земледельческой колонизации на собственной земле где-бы то ни было и является провозвестником будущих "территориалистов". Инициатива должна исходить от конгресса еврейских нотаблей всех стран, которые потребуют и добьются гарантий правительств и созовут всемирный еврейский конгресс. Все существующие колонизационные общества создадут новый бессменный орган — еврейскую директорию, которая привлечет финансистов-евреев со всего мира и образует акционерное общество для закупки земли, на которой они поселят несколько миллионов евреев. Не представляют ли эти мечтания старика Пинскера блестящую страничку из "Judenstaat" \* д-ра Герцля?

О плане Герцля пророчит и Лилиенблум, требуя покупки у турецкого султана палестинской земли для основания там

---

\* Еврейское государство (нем.).

скромного еврейского штата. А в течение 100 лет евреи смогут постепенно покинуть Европу и переселиться в Палестину.

Но еще и до Либиенблума англичанин Казалетт, с одной стороны, и герцог Соутерленд, с другой, стали пропагандировать в Петербурге идею закрепления Палестины за евреями, а украинец, писатель Д. Л. Мордовцев, требовал созыва конгресса держав для решения вопроса о Палестине. Конгресс должен дать евреям убежище и уже наложить свое *Veto* на Палестину, как на будущее еврейское государство.

Перец Смоленский открывает кампанию в *Haschachar'e*, где в стихах оплакивает народ без пристанища и воспекает Сион. За ним следует целый ряд романов, повестей и статей на ту же тему. Фруг еще в 80-х годах настраивает свою лиру и поет свои пророчества:

То встал великий вождь народа,  
 Чтоб цепи рабства разорвать,  
 И повела за ним свобода  
 Неволей вскормленную рать.  
 И с каждым днем сильней, сильнее,  
 Росла святая мощь его...  
 Дитя, возможно ли полнее,  
 Возможно ль выше торжество?

Путем интуиции душа поэта предчувствовала события, которые получили свое осуществление лишь 15 лет спустя. И глубокая вера в народ, в действенную мощь его внушает ему новые поэтические строки:

Нам ли, древнему народу,  
 В мире рабском и слепом,  
 Любям давшему свободу,  
 Бесприютным стать рабом?

Обойти людскому глазу  
Все доступные края  
И не смей сказать ни разу:  
Эта пядь земли — моя.

А полная красоты трансформация лермонтовской "Ветки Палестины" в устах Михаила Лебенсона разве не подготавливает путь, не настраивает атмосферу для выявления герцелевской миссии? Оторванная молодая ветка, которую дождь и ветер качают, и хлещут, и бросают постоянно из одной стороны в другую, отвечает поэту на вопрос, откуда она и почему не находит покоя: "Это оттого, что я оторвана от родной почвы, от того могучего дерева на Дальнем Востоке, которое одно может дать мне жизнь и спокойствие".

В том же настроении поют и М.Леттерис, и М. Долицкий, и И.Г. Имбер, и М.Г. Мане, чудно перефразирующий Иегуду Галеви.

А лира Х.И. Бялика, подобно пророкам, бичующая равнодушный народ, а муза Черниховского, Зингера, Абрамовича, Полякова, Тагера и Л. Яффе — разве это не трубадуры пришествия новой зари, новых времен? И в жаргонной поэзии, и в творчестве Гольдфадена — повсюду сказывается возрождение, ренессанс еврейского духа.

Таким образом, ко времени выступления Герцля все уже приветствуют сионизм: поэты поют на цитрах и гитарах одушевленные песни; в России, Галиции, Румынии организованы кадры сторонников идеи, из Палестины поступают, хотя и наивные, михтавим — письма из страны Израиль, в Палестине во многих местах имеются еврейские колонии; в Америке и Англии бодро подготовлено общественное мнение.

Но присутствует не только эманация чувства, настроения; имеется и теоретическая, философски обоснованная подготовка теории сионизма. В 1889 г. появляются первые статьи Ахад-Гаама, философа с цельным еврейским мировоззре-

нием. Квинтэссенция его воззрения, ясно выраженная в его "Perurim" — духовный сионизм. И смысл его идей заключается в том, что сионизм — движение не случайное и не преходящее. Оно не является следствием антисемитизма и не составляет лишь часть иудаизма, не играет роли дополнения к нему, а это сам живой иудаизм. В сионизме лишь меняется центр жизни иудеев; это концентрация еврейского духа на достижение национального центра, где бы вся культура человечества, пройдя через призму еврейского сознания, реализовалась бы в условиях еврейской реальной экономики. Этот реальный духовный центр — в Палестине, и он окажется центром влияния на евреев в галуте и создаст, в конечном итоге, объединение и ренессанс еврейства.

А для этого необходима скорая колонизация меньшинства в Палестине и перевоспитание народа еврейского зне Палестины. В следующем своем сочинении "Перекресток" и в целом ряде статей в журнале "Гашилоах" Ахад-Гаам характеризует новое течение "духовного сионизма", как самостоятельное, независимое от экономики, а политический сионизм является для него лишь условным моментом.

В противовес Ахад-Гааму, Бердичевский и Василевский выдвигают на первый план перевес экономики над духовной подоплекой Ахад-Гаама и еврейства над иудаизмом: чем больше благ материальной жизни будет иметь еврейство, тем более живая, здоровая нация образуется из народа и проявит свою духовную мощь.

Наконец, Левинский рисует в своей утопии "Через 150 лет" поездку в Палестину — синтез этих двух мнений в картине экономического и духовного возрождения на родине.

Идеи Бердичевского находят яркую поддержку со стороны Матиас Ачера (Натан Бирибаум) в газете Selbst - Emancipation, которая в 1895 году переходит в Генриху Леве (псевдоним Заксе) и Рубену Брайнину. Под их влиянием

Бирибауму удастся основать в Вене "Kadima" и еще два союза: Возвращение в Сион с Бирером во главе и Земля Ешурума во главе со Шнирером. Под их влиянием создаются до 40 кружков в Галиции, Богемии, Буковине. В 1896 году из этих кружков образуется общий союз под именем "Сион".

Не отстают от Австрии и Германия: во Франкфурте-на-Майне доктор Рюльс выступает с брошюрой "Спасение еврейского народа", в которой ярко и красочно отражены стон еврейства и манифестация в пользу еврейского государства. Под ее влиянием в Германии начинают расти, как грибы, сионистские кружки. Среди них выделяется кружок "Сион" в Гейдельбурге, под руководством одесского эмигранта проф. Хаима-Германа Шапиро, предлагающего учреждение еврейского университета в Иерусалиме, будущего духовного центра палестинских колоний. Ту же идею о центре проводит и доктор Хазанович, но позже она трансформируется у него в идею: "Поучения Абрабанеля". В Берлине является новый политик сионизма Вилли Бамбус со своей газетой Serubabel.

Проявляет новые, более реальные формы сионистских симпатий и Англия: члены парламента Самуэль и Франсис Монтефиоре вместе с полковником Гольдсмитом образуют в Лондоне Schowe Zion Society, насчитывающий в первый же год своего существования около 2000 членов. Манчестер, Эдинбург, Лидс и т. д. следуют примеру Лондона, и, в результате общей их работы, в Лондоне возникает "дамский комитет" виконтессы Стронгфорд, переходящий в так называемое "Палестино-Сирийское Общество". Цель его — колонизация Сирии и Палестины. Шефом общества становится лорд Шефтсбери, который еще в 1841 году хлопотал перед Пальмерстоном о переселении евреев в Палестину. И вот в 1891 году герцог Вестминстерский организует "Общество помощи преследуемым евреям", председателем коего изби-

рается граф Абердин. На первом же заседании принимается резолюция: "Долг всякого христианина оказать помощь гонимым евреям и содействовать им, в особенности, в деле колонизации ими Палестины, как это уже было одобрено и прежним председателем лордом Шефтсбери". Наконец, и Шотландия примыкает к новому течению и образует в Эдинбурге "Шотландское общество по восстановлению еврейской Палестины".

Бывшие разрозненные общества Schowe Zion. консолидируются и укрепляются в 1896 году и в Америке. Целый ряд маленьких групп вместе скупают в Палестине обширные участки для обработки, а затем, при разделе, каждый получает участок пропорционально внесенному паю. Одновременно с этим появляется целая масса филантропических кружков Scowewe-Zion. Наконец, в 1895 году в Чикаго созывается съезд делегатов разных мест Америки, и в Вашингтон посылается петиция о созыве международного конгресса для помощи эмиграции евреев в Палестину.

А в Париже раввин Вайскопф организует союз "Ischub Erez-Israel", проводящий большую агитационную работу среди евреев Франции. После Вайскопфа председательство переходит к главному раввину Цадоку Конни.

Наконец, и Румыния, и Болгария, и Сербия, и Европейская Турция уже имеют к концу XIX столетия готовые ряды, полные энтузиазма и ждущие лишь призыва и сигнала от вождя, который поведет их в путь.

Я позволил себе подробнее остановиться на всех этих подготовительных этапах развития идеи, чтобы показать, что путь для пришествия "героя" был приготовлен и что толпа была уже склонна к приему своего "героя", если он сумеет уловить общее стремление и настроение широких масс и сторонников реализации исконных исторических тенденций еврейского народа.

В брошюре "Пробуждение еврейской нации" Геманн писал: "Избавителем еврейства должен быть обязательно "апикойрес" — эпикуреец, так как запреты раби Иосе бен Ханина и раби Леви, ученика раби Иоханана, не позволяли верующим проявлять активность — делать то, что надлежит делать Мессии и чего надо лишь терпеливо выждать. Далее Геманн пишет: "Измученный народ, час твоего избавления уж наступает. Явился к тебе новый рулевой — а вот уж и пристань показалась вдали! Твердой рукой берется он за руль и мужественно ведет тебя в твой Ханаан!"

А разочарование работой Одесского Комитета росло изо дня в день. С одной стороны, упадок энергии и веры в Одессу после темкинского краха 1891 года, падение кружков, скандальная книжка "Шивас-Цион" Слуцкого, да и вся трехрублевая филантропия Одессы, ее слабый идейный размах с ее "ограниченной колонизацией", нашедший отзвук в Галиции у доктора Зальца из Тарнова — все эти обстоятельства привели к отпадению от одесских *Showe Zion* целых масс прежних приверженцев. Все искали и ждали новых путей, чтобы выйти из долины горя и безделья и опять подняться на гребень идейной волны.

И вот явился долгожданный и желанный "герой". Он, действительно, был из того слоя еврейства, который именовался "эпикурейским". Его ни на минуту не смущал вопрос, имеет ли он право, не дожидаясь Мессии, вести евреев в Ханаан. Даже не как еврей, а как человек другой расы, он считал бы своим долгом поднять знамя борьбы за еврейское право, за свободу народа еврейского. Его ум и душа были задеты мировой несправедливостью по отношению к свободному духом народу, давшему миру заветы социального равенства в зачатках программы Моисея. Он сильно верил в свободолюбие, в чуткость души еврейской к нарушениям мировой несправедливости вообще. И вот, если б он жил и

воспитывался среди евреев диаспоры, как каждый из его русских, румынских и галицийских сторонников, он мог бы колебаться, сомневаться. Но он воспитывался вне еврейских масс, он их не знал; он не знал доподлинно и еврейской истории в диаспоре (всему этому он научился постепенно, впоследствии), и вот в этом — причина его смелости, его подвига.

Родился Теодор Герцль, в 1860 году, в Австро-Венгрии. В 1882 году, 22 лет, он уже удостоен степени доктора прав юридического факультета. В университете он был храбрым буршем, корпоратором немецкого союза "Albia".

И вот начинается его житейское "хождение по мукам": в 1883 году он назначается адъюнктом при суде и подрабатывает себе на жизнь в качестве журналиста, публикуя свои статьи по общим вопросам австрийского законодательства и политики. 27 лет отроду он женится на Irl. Naschauer и уже в 1891 году следует первый разрыв с семьей жены, который так красочно описан им в пьесе "Новое гетто". Его уже начинают беспокоить социальные антиномии, и его мятущаяся душа ищет новых путей и гонит его из Австрии в Париж, где он работает в качестве политического корреспондента газеты "Neue Freie Presse". К этому времени, с 1891 по 1895 год, относится знакомство Герцля и тесная его связь с Максом Нордау, умным психиатром и придирчивым анатомом-публицистом, раскрывающим беспощадно всю ложь, фальш и двуличие европейского выложенного социального строя. Глубокий след оставило на нем и знакомство с бельгийским мыслителем, профессором Бернардом Лазарем, который первый заронил в душу Герцля семена протеста и скептицизма по отношению к решению еврейского вопроса. Сомнения эти не дают покоя мятежной душе Герцля, и он ищет путей для того, чтоб поджечь фитиль и вызвать взрыв возмущения "внутренней революции", как он сам выража-

ется, в среде народных масс еврейских. В 1895 году он едет специально в Лондон, где в течение полугода ищет аудиторию. К концу 1895 года он возвращается обратно в Вену в качестве редактора фельетонного отдела "Neue Ireie Presse"

Но вот наступает эпоха позорной дрейфусиады во Франции, и не менее позорная анкета Дрюммона накладывает на эту эпоху свой антисемитский ярлык. Герцль не знает ни сна, ни покоя. Он решает как можно скорее использовать эту искру, чтоб поджечь "еврейские бочки с порохом". Не ведал он, плохо знавший евреев, что бочки еврейские имеют мало пороха, да и тот подмочен обильной водой и грязью диаспоры. В Вене он сближается с руководителями "Kadima", и тут впервые зарождается мысль о созыве первого всемирного конгресса. Еще в Париже он начал брошюру "Judenstaat". и кончает ее лишь в Лондоне. На первый доклад Герцля в Лондоне, в зале, вмещавшем до 8000 человек, собралось насилу 40 человек. И вот Герцль приступает к печатной пропаганде: в 1896 году появляется в "Jewish Chronical" его первый труд по разрешению еврейского вопроса, а через месяц Герцль выступает с классическим "Judenstaat"

В этом труде замечен несомненно новый, неслыханный доселе дух в решении еврейского вопроса. И вот его достоинства: 1) сильное, смелое расширение программы сионизма; 2) полное отрицание филантропии в сионизме и в проведении колонизации в Палестине; 3) смелое выступление, и не просьба и мольба, а требование права евреям на самостоятельное существование; 4) международное разрешение держав мира на радикальное решение еврейского вопроса; 5) отрицание обязательности этого решения для всех евреев мира, а лишь для тех, кто не может или не хочет раствориться, ассимилироваться среди соседних народов вселенной.

на прилавок свежие батоны — кто же тогда будет покупать вчерашние или ночного завоза? Советский человек — не дурак, он тоже зазря собственные зубы ломать не станет.

Самую точную формулу черствости хлеба выработал Ленья Цыпин: "Подымите белый батон за двадцать восемь копеек на уровень плеч, держа его четырьмя пальцами за кончики. Разведите руки. Если батон, падая, расколется на части от удара о плитку пола — он еще не черств. Если же расколется плитка пола — батон уже черств".

Булочная наша была привокзальная, тесная, но с большим оборотом. Ночью приходило с завода пять-шесть, а то и семь машин, и места для хлеба в подсобке не хватало. Поэтому самый "неудобный" хлеб — столовый круглый — высыпался из лотков прямо на пол, а потом рассовывался под прилавок, в какие-то подручные ящики и корзины. Святой хлеб! Он свят для тех, у кого его нет, и для тех, кто сочиняет о нем оды.

Больше всего мороки доставляли мне сушки. Их почему-то нельзя было таскать ни в лотках, ни в ящиках. Я становился у машины в позе распятого Христа, и хлебозаводской грузчик-сопроводитель — пижон в белом халате — нанизывал на мои распыленные руки по десять "низок" сушек. В таком виде — с гирляндами сушек на растопыренных руках — я и брел через двор в специальную каморку для хранения сахара, чая и сушек. Эти товары мы обязаны были взвешивать и пересчитывать дважды в сутки: сразу после закрытия булочной и перед открытием. Я до сих пор не могу понять, кому и зачем это было нужно.

Моя коллега, грузчица тетя Паша из нищего подмосковного колхоза, не имела сомнений насчет моей национальной принадлежности. Она относилась ко мне неплохо, мы с ней ладили, она не лезла ко мне в душу: может, просто оттого, что времени не хватало. Но зачем московский еврей подался

Советские граждане с "чистыми" паспортами — русские, татары, армяне — не горели желанием выполнять свой трудовой долг в рабочих помещениях хлебных лавок. Работа там была тяжелая — одна смена продолжалась двадцать четыре часа, зарплата — шестьдесят рублей в месяц, а то, что можно было украсть, так сказать, "законным порядком", не представляло собой ценности. Ну, наковыряли за ночь мешочек изюма с орехами из калорийных булок. Ну, отсыпали, аккуратно расклеив коробку, граммчиков десять чаю из пятидесятиграммового пакета. Ну, наконец, замочили водой мешок сахарного песка перед взвешиванием, утяжелили тем самым содержимое — и свиснули килограмм-другой, пока товар не просох... Это все мелко, неинтересно, бесперспективно. Едва ли кто пойдет на такую работу по собственной воле.

Вот и шли туда выносливые, как лошади, крестьянские бабы из подмосковных деревень и евреи, подавшие просьбы о выезде в Израиль, потерявшие работу и автоматически причисленные к "предателям социалистической родины". Совсем еще недавно эти евреи сидели за лабораторными столами ответственных Научно-исследовательских институтов, в редакциях газет, лечили больных в столичных клиниках. Теперь они таскали тяжеленные лотки с хлебом от грузовика к пробитому в стене булочной окошку. Без Торы нет муки, без муки нет Торы...

Мне не повезло: в "моей" булочной обходились без такого прогрессивного усовершенствования, как окошко в стене. Поэтому я выполнял двойную работу: наг-ужал лотки с хлебом на тележки во дворе булочной, катил эти тележки через двор, потом по коридору в подсобку. Там тележка разгружалась, и лотки ложились в специальные деревянные стеллажи. В этих стеллажах и черствел хлеб, дожидаясь своей очереди на продажу: ведь если "выбросить"

## ЗВУЛОН ГИЛАД

### ВТОРАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ПРОФЕССИЯ

О первой еврейской профессии не стоит и рассуждать: всякий здравомыслящий человек скажет вам, что наша первая и самая главная профессия — это здравомыслие. Что кроется под этим понятием — предмет целой диссертации, не об этом речь.

А вот вторая еврейская профессия москвичей семидесятых годов — грузчик в булочной. Будь на то благословение властей — можно было легко сколотить профсоюз еврейских булочников-грузчиков. До того, как мы освоили цикл погрузочно-разгрузочных работ в домах русского хлеба, выпеченного из американской муки, многие из нас занимались доставкой телеграмм. Потом кому-то из высокого и ответственного начальства пришло в голову, что сотрудничество с Министерством связи — это чересчур жирно для еврея, желающего покинуть родину победившего социализма и уехать в Израиль на постоянное жительство. Короче говоря, евреев — "подавантов" и отказников — уволили из почтовых контор одного за другим, и они подались в булочные. Грузить черняшку, белый, сушки и даже булку колоритную с изюмом нас брали почти без сучка и без задсринки. Тому были свои причины, довольно прозаические.

подготовлена почва, и на ближайшем после конференции конгрессе (август 1903 года) Герцль предложил мне вместе с ним рассылать циркуляры. Я сильно любил Герцля, был польщен его предложением и готов был совсем бросить Россию и переехать в Вену, чтоб работать около него, с ним. Но Боденгеймер и многие другие сионисты уговорили меня не соглашаться, так как это погубит и мое значение в партии, и я потеряю значение как личность. После моего трехкратного отказа, Герцль оказал влияние (а оно было очень велико) на русских делегатов, и так называемое "почтовое бюро" прекратило свое существование. Таким образом, я лишился трибуны, с которой мог говорить с еврейскими массами. Герцль не переставал ценить меня; напротив, он очень уважал меня, да и я по-прежнему не только почитал, но даже и любил его всей душой.

Таков был этот еврейский "железный канцлер". Наступит момент, удобный для опубликования моей с Герцлем переписки. Из нее ясно станет, каковы были наши отношения: я в нем видел высшее существо, аппарат могучей силы, способной повернуть колесо еврейской истории. И вот почему я холил, берег его и особенно стерег каждое его движение, чтоб оно как-нибудь, по моему мнению, неосторожным боковым уклоном, не обошло дорого и на долгое время судьбам еврейского народа. И, несмотря на нашу честную, открытую борьбу в работе, я не сомневаюсь, что будь он и по сей день жив, мы и по сей день работали бы дружно вместе, не прекращая, разумеется, борьбы в том или другом случае. Ореол Герцля навеки запечатлен в душе моей; его великое "я", его мощная красота и сила вечно стоят предо мною и его личность окружена в воспоминаниях каким-то неземным сиянием.



моей работой: я для дела, да и для него лично, готов был пожертвовать, да и жертвовал, и личными, и семейными интересами. В смысле работы организатора я всегда представлял недюжинную ценность; на сионистскую организацию "низов", особенно в России, я оказывал большое влияние, и Герцль понимал это; он меня окружил и вниманием, и почетом, и личной дружбой. Но когда я откровенно, и не раз, высказал ему, что замечаю в нем бисмарковские замашки, что буду открыто бороться против его деспотических приемов, что мне, да и всем нам, довольно в России "одного царя" и что "двух цурес" нам не вынести, он сразу переменял фронт. Он сам со мной в шутиливой форме переписывался по этому поводу, а на деле решил взять меня в руки и заставить идти "по пути". В деле учреждения банка я был с ним вполне "по пути", в деле учреждения "национального фонда", при составлении устава, я всей душой был с ним и работал до изнеможения сил. У меня сохранились его письма, где он меня специально благодарит за спасение идеи банка, который, отчасти, и осуществился благодаря моей настойчивости, несмотря на пессимизм Грегора Лурье. Но когда я каждый год, чрез месяц после конгресса (в 4-м очередном циркуляре), подвергал резкой критике его оппортунистическую тактику на конгрессах, когда я открыто, как член наблюдательного Совета Банка, протестовал и провел аннулирование его личного права получать по своему усмотрению займы из сумм банка (даже и на политические шаги), на что он жалуется в своем "Дневнике", он понял, что "мавр свое дело сделал" и решил, что я должен или пойти с ним "в ногу" или уйти совсем от руководства делами. Я, конечно, боролся и не уступал позиции. В 1902 году в Минске, на доконгрессной конференции русских сионистов, на которую я, из-за тяжелой болезни, не мог приехать, была

сильных людей и групп, как мы увидим позже и в нашей истории сионизма.

Отношение Герцля к рабочему вопросу теоретически было одним: например, он выставил на нашем знамени семь звезд, т. е. семичасовой рабочий день. Это было красиво и демонстративно. В практическом же смысле он был равнодушен к этим вопросам и конфликтам, что ясно обнаружилось при разногласии между рабочими Ейн-Ганим и Петах-Тиква.

Наконец, Герцль в отношении к товарищам по работе проявлял редкое внимание и оценку лишь до тех пор, пока они шли с ним "в ногу". Если среди них определялась одаренная личность, годная для нашего дела, он приближал ее к себе, окружал ее почетом и эксплуатировал донельзя, подчинял своей воле и влиянию. Но стоило этим сотрудникам не идти с ним "в ногу", как он искал всяких способов свалить их с пьедестала, на который сам же поставил. Так, например, было с Натаном Бирнбаумом, который задолго до Герцля стоял высоко на родной еврейской трибуне. И вот, когда обнаружилось, что им не совсем "по пути", Герцль старался его сместить с позиции первого избранного генерального секретаря Малого Исполнительного комитета, а когда ему это не удалось, он пошел на всякие уловки, чтоб лишить его той почвы, на которой стоял и на которую Бирнбаум опирался. Он предложил Бирнбауму написать за хорошую оплату научный труд и выдал ему изрядную сумму авансом, так как Бирнбаум нуждался в средствах. Последний был таким путем перегружен трудом, не вмешивался в политику, и, когда он ко времени не представил обещанного труда, Герцль его публично дискредитировал в глазах товарищей. Он ему уже не был нужен и сделать его безвредным не влекло за собой никакого риска. То же отношение было с его стороны ко многим другим сотрудникам. В деле устройства банка и национального фонда он широко пользовался

Тем не менее он шел на компромиссы, если нужно было играть в оппортунизм, если нужно было допустить в мир фикцию о склонности сионистов к старым духовным традициям. Когда на II-й конгресс съехалось около дюжины именитых раввинов с Акивой Рабиновичем во главе, Герцль не постеснялся использовать их для декораций конгрессного зала и усадил их рядышком, в атласных праздничных халатах, в специальный ряд кресел на трибуне у авансцены. И раввины демонстративно, пред всеми, целовали руку новоявленному Мессии, а за ними и "набожные" гвиры делали подобострастно то же самое. Когда на конгрессе только возник вопрос "о культуре", грозивший вызвать раскол между набожными и светски настроенными сионистами, не кто иной, как раввин Гастер из Лондона выступил с искусной магидской речью, имевшей целью надуть и набожных и эпикурейцев. Но удивительно, что президент конгресса, Герцль, выступил тогда со своей нашумевшей речью "was ist cultur\*?" Это был позорный компромисс, кивание в обе стороны и желание замазать этот важный вопрос, скрыть свое "credo". Это было недостойным его памяти политическим "трюком".

При вопросе о дне отдыха в нашем банке, когда самого банка еще не существовало, нашлись до мозга костей преданные набожной традиции люди, типа насквозь протрефненного варшавского адвоката Ясиновского, со слюной у рта боровшиеся против поругания Субботы, высказанного Сыркиным и другими, говорившими, что для массы день субботний — наиболее удобный для осуществления разного рода дел, в будние дни неразрешимые. И тут просвещенный Герцль, мнение которого было всем известно, молчал, делая уступку оппортунизму. Да, внутренняя политика в партиях и в парламентах — гиблое место для многих и многих

---

Что такое культура (нем.)

ном обсуждении программы новой "демократической" группы (Моцкин, Вейцман, я, Бубер, Файвель и др.). Беседа наша наедине была стенографически зафиксирована за тонкими стенами нашей комнаты. Такой же прием он использовал и при своем ответе активистам, желавшим устроить в столицах Европы шествия и митинги протеста против беспощадно отрицательного отношения Е.К.О. к сионистским планам спасения еврейского народа. Он не советовал брать меч в руки, но он все-таки "благославлял мечи". И форма, в какую он облакал ответ, была тоже зафиксирована стенографически.

Его отношение к капиталистам было ясным, не допускавшим никаких двусмысленных толкований: он по необходимости вступал с ними в переговоры, но не просил у них ни моральной, ни материальной поддержки: он предлагал им дать заем народу на выгодных для них условиях. Он готов был предоставить гарантию выплаты займа и предлагал им назначить и формы гарантий, и величину процентов. Таким путем он неудачно вел переговоры с Ротшильдом, на такую же неудачу натолкнулся в Е.К.О. и также безрезультатно закончились аналогичные переговоры с русскими капиталистами в Киеве, Лодзи, Москве и Варшаве. Когда я, в качестве его эмиссара, беседовал с финансистами Лодзи и Киева, они откровенно смеялись: для них гарантия Герцля казалась смешной, далеко не кредитоспособной; они мне охотно, без гарантий, дали ссуду на текущие расходы партий, "и немалые суммы", и давали деньги *a fand perdu*, с беспощадной капиталистической усмешкой над нашими утопиями. Правду сказать, они не получили обратно ни сентима в счет сделанных займов. Герцль в то время не верил в возможность получить еврейские капиталы, рассеянные в мире, путем насильственной экспроприации, да и план такой был несроден душе его: он не верил в революцию извне и допускал лишь революцию в тайниках души народной.

зунг, свой основной гвоздь. Первый конгресс имел своим лозунгом выработку программы базельской в смысле требований, предъявленных миру, и задач, поставленных себе и своему народу; второй – провозгласил принцип, девиз завоевания общин; третий – выдвинул на повестку дня основание еврейского колониального банка; четвертый – выработал программу и статут еврейского национального фонда; пятый – детальный план окончательной организации сионистов мира и вопрос о колонизации Вад-Эль-Ариша; наконец, шестой – территориальный принцип о колонизации Уганды, создавший оппозицию и раскол в нашем лагере, закончившийся на седьмом конгрессе окончательным крахом теории Герцля о кривой политической *Lufchlinie*. Моя переписка с Герцлем ясно отражает его тактику, когда в ответ на мои программные предложения о том или ином выполнении конгрессного содержания, Герцль интенсивно выставляет требования каждый раз провозглашения новых лозунгов и девизов. На заседаниях большого Исполнительного Комитета (а я не пропускал ни одного) я защищал мои требования, а Герцль властно проводил свою линию: все новизны и новизны. Бывали моменты, когда казалось, что разрыв между нами неизбежен, и он всякий раз умел так или иначе смягчить разгорячившиеся страсти и строго проводил свою линию.

Отношение его к различным партийным группировкам нашей лиги было строго официальное: он признавал абсолютную свободу за каждым сионистом принадлежать к какой-угодно группе, согласно с базельской программой, однако неофициально он явно симпатизировал одним и не симпатизировал другим и, беседуя с представителями одной или другой группы, он, осторожности ради, заставлял стенографировать свои слова. Я не могу забыть, как искусно он инсценировал нашу программную беседу наедине при интим-

нашего банка. Не стану я тут повторять давно уже опубликованные данные о 1-м базельском конгрессе и о всех последующих. Я лишь коснусь впоследствии выдающихся моментов, имевших место на герцлевских конгрессах.

Много и часто мне с тех пор приходилось сталкиваться, работать сообща и беседовать с Герцлем. И, несмотря на частые мои расхождения с ним во мнениях по поводу тактики и политики, я сохранил о нем воспоминание, как о сильном, мощном герое народной идеи, как о сильно верующем идеалисте, горячо преданном делу и отдававшем сердце на горящий алтарь исторического активного храма еврейского. Я не соглашался с ним в его политических симпатиях: он, например, признавая даже 7 часовой рабочий день, был горячим сторонником теократической монархии, как это он открыто высказал в своем *Judenstaate*. Он верил, что такая форма правления скорее приведет еврейство к бескровному решению рабочего вопроса. Сколько раз я ни требовал от него доказательных примеров из истории народов всего мира для подтверждения его убеждения, он не мог мне привести даже аналогии. И все-таки "земля вертится" — говорил он: евреи-де не нуждаются в примерах истории других народов, они живут своеобразно и пойдут своим, своеобразным историческим путем.

Метод его пропаганды идеи был отнюдь не теоретический: не диалектикой можно заставить массу уверовать, повысить ее активность и действенное настроение, но исключительно демонстрацией *ad oculos* фактических успехов, достижений. *Propaganda der Thact* — наиболее действенный и сильный рычаг во влиянии на широкие массы.

Каждый созыв народных масс и их представителей на конгрессе имеет ввиду манифестацию, демонстрацию пред всем миром нашей все растущей силы. А потому каждый конгресс должен иметь обязательно свой, новый девиз, ло-

причинам, на конгресс не поехал. Так как на такую поездку в оба конца требовались большие суммы (а все наши сионисты были большими кабцанами), нам пришлось всем (15 человек) подписать личные векселя сроком на один год, и мы получили из Общества Взаимного Кредита необходимые средства, и я своевременно поехал в Базель. Еще до отъезда я представил кружку мой доклад "О социальном устройстве Палестины будущего". В этом докладе заключались все директивы, данные Бессарабией своему делегату. Доклад был одобрен.

Чем дальше от Кишинева, тем больше являлось в поезде пассажиров, ехавших на конгресс. И когда мы, миновав границу, пересели в заграничный поезд, весь вагон наш был переполнен единомышленниками. Начались споры, дебаты, так что мы и не заметили, когда после трех дней пути приехали в исторический город на Рейне, в убежище съездов и конгрессов нелегальных на своей родине партий и союзов. На следующий же день, утром, я отправился познакомиться с Герцлем и через Кокеша и Шнирера добился аудиенции. Просидел я у него более получаса. Меня встретил высокий, грациозный, чрезвычайно представительный мужчина, приблизительно, моего же возраста, с обильной иссиня-черной шевелюрой, с длинной, ассирийской складки бородой, продолговато-овальным смуглым лицом и темно-синими, бездонно-глубокими глазами. В общем — импозантное, на редкость красивое явление природы. Голос — мягкий, убедительный, взгляд — пронзительный, прямо гипнотизирующий и подчиняющий все своей воле. Не удивительно, что М. М. Усышкин не решался, при резкой оппозиции Герцлю, смотреть ему в глаза: он боялся их гипнотического влияния. Прием Герцля был очень любезен: он расспросил меня о жизни евреев в Бессарабии, о их национальных порывах, интересовался очень моей биографией, моими

тельная комиссия 1-го Базельского конгресса и без раздумья, немедленно рассылаются по всему миру объявления об имеющем состояться в августе 1897 года первом всемирном еврейском конгрессе. Вторым их актом была командировка агентов для агитации и пропаганды выборов делегатов на конгресс. Всем нам еще памятны эти эмиссары, их восторженные, полные пафоса и призыва речи, их настойчивость и энергия. Герцль нарочно подбирал людей, способных на все, вплоть до психопатических выходок, вроде неуравновешенного психически Марко Боруха, болгарского сиониста, и т. п. В то же время Шнирер и Кокеш позаботились о том, чтоб изолировать на время Герцля от общения с массой любопытных, наезжавших без числа и вопрошавших без конца по всяким поводам новоявленного Мессию. Эта изоляция еще больше подняла в глазах масс личность и престиж Герцля: в его лице видели уже "цадика", который наедине "беседует лично с самим Богом" и готовится к своей священной миссии.

Наконец, устанавливается, после долгих колебаний, место конгресса в Базеле и фиксируется время конгресса - 17-18 августа по старому стилю.

Как живо у меня еще воспоминание о приезде Бухмиля, эмиссара Герцля в Бессарабии, в Кишиневе. Имея связи в нашем городе (он в юности служил в Кишиневе), он скоро разузнал о нас всех, и мы устроили подпольный митинг во дворе дома, где жили наши товарищи-братья Абрам и Соломон Дубинские. Двор был густо набит "палестинцами" и, после многих дебатов и противоречий со стороны приверженцев Одесского Комитета, боровшихся против созыва 1-го конгресса, чтоб удержать подольше за собой свою ускользавшую из-под их ног почву, решено было кишиневских делегатов на конгресс послать. Выбор пал на меня и Льва Когана, который, однако, по независящим от него

мелодии в душах многих делегатов и гостей 1-го конгресса.

Наконец, наступил великий день 17 августа, первый день конгресса. Уже за час до открытия кулуары были полны делегатами; все в торжественном праздничном одеянии и в трепетном ожидании наступления исторического момента. Удивительно, однако, что, несмотря на всю эволюцию движения, несмотря на энергию эмиссаров Герцля, на конгресс съехалось лишь около 110 делегатов со всего мира. Был там суровый английский юрист, председатель лондонского "Ордена Маккавеев", Бентвич, был симпатичный "молодой" старик, гейдельбергский профессор Хаим Шапиро, остроумный редактор парижского "Flambeau", Жан Багар, известный американский Ховвеве-Цион Адам Розенберг и другие.

Ровно в 11 часов дня под долго несмолкавший гром аплодисментов и крики "гейдод", взошел на трибуну Герцль, окруженный своими друзьями — Инициативной группой по созыву 1-го конгресса. Среди них выделялся седовласый, низенький (сравнительно с Герцлем) старик Макс Нордау. Его львиная шевелюра, представительная широкая борода и горящие внутренним огнем глаза импонировали всякому, не знавшему даже, что перед ним — модный французский философ и журнальный беспощадный анатом-публицист. В первых рядах важно восседают пионеры — сионисты румыны, Самуил Пинелес и Липпе (из Ясс); дальше — кельнские деятели Вольфсон и Боденгеймер; еще дальше — два слепых "хусида" проф. Мендельштамм (из Киева) и присяжный поверенный Ясиновский (из Варшавы). Еще дальше — фигуры крепколобого Усышкина, Рабиновича (Бен-Ами) и Ахад-Гаама (главный штаб Одессы). Между трибуной и рядами кресел в постоянном нервном движении — Грегор Лурье, банкир из Пинска, сыгравший впоследствии крупную роль в деле учреждения

прошлыми переживаниями. Затем детально ознакомился с тезисами моего доклада, ничего не возражал, посоветовал предварительно прочесть доклад на частном собрании кружка единомышленников из Берлина. Во всяком случае, мой доклад был включен, как официальный доклад, в программу 2-го конгресса.

В тот же день я попал на заседание берлинцев или ему все свои капиталы и положившем, фактически, свое берлинской "Зоологической группы", как шутливо называли их Герцль ввиду того, что все они жили около зоологического сада и там же собирались на свои заседания. Кроме Лео Моцкина, с которым мы потом сдружились на всю жизнь, в эту группу входили Пинский, Житловский, Давидсон, Бертольд Файвель, Абрамович, Бухмиль и Сыркин. Они еще не были вполне преданными сторонниками Герцля, но все обожали его и видели в нем восходящее светило, призванное ярко осветить еврейский исторический горизонт и открыть народу широкие перспективы. Совещания их были направлены к тому, чтобы дать известное партийное (социалистическое) направление сионистскому движению. Наш "вечный студент" Моцкин пользовался в кружке наибольшим влиянием, и легкомысленно порхавший по партийным программам Сыркин тщательно пытался своим авторитетом затмить влияние Моцкина. Житловский, известный нам уже издавна, произвел на меня неотразимое впечатление и своим мировоззрением национал-социалиста, и своей, сквозившей в каждом слове, любовью к еврейскому народу, и своей мягкой манерой убеждения противника. Бледный поэт Пинский больше слушал, наблюдал и выделялся лишь очень красочно на специальном еврейском вечере, на котором он с Давидсоном и Житловским демонстрировали всю силу и мощь еврейской разговорной речи. Как идишисты, они достигли цели и заставили мощно звучать старые еврейские

ное, вспаханное другими пахарями поле. Герцль решает основать свой всемирный орган, свою еврейскую новую свободную прессу, в своем громадном дворце со своей же гигантской типографией и т. д., и т. п. Для этой цели он привлекает газетного работника, директора Йорк-Штейнера, через Мандельштайма (и меня) влияет на киевского сахарозаводчика Бродского, добивается благосклонности и обещания австрийского министра Бадени, любимцем которого он уже давно был.

Но дело не так скоро делается, как надумывается, и Герцль пока ограничивается изданием газеты "Welt" с Зигмундом Вернером во главе. В июне 1897 года газета начинает свою усиленную работу и, при помощи адъютанта германского императора Вильгельма Лукануса, воспитывает хитрого, мечтательного и больного манией величия сюзерена в желательном для сионизма духе.

После съезда в Катовице, в Германии и Австрии все время поддерживается повышенное настроение, и разные "политики-карьеристы" вроде Вилли Бамбуса, Носсега и др. ведут свою подпольную политическую работу, подрывая замыслы и авторитет Герцля в глазах сионистских кружков. Герцль на это отвечает смелым приглашением к бою. В декабре 1896 г. он созывает конференцию в Вене, а в январе 1897 года — в Париже и Лондоне и, наконец, в Берлине, куда он приглашает всех своих подпольных противников, для подготовки созыва 1-го конгресса. И когда в январе 1897 года Бамбус, Носсег и Туров ставят ему палки в колеса и доказывают невозможность и опасность такого созыва, Герцль категорически заявляет, что, если бы ему одному, без всякой поддержки, пришлось бы устроить этот конгресс, он без риска созовет его. К нему тут же присоединяются братья Александр и Оскар Мармореки, Кременецкий, Кокеш, Шнирер и Леопольд Кан. Так образуется подготови-

Там же указывается и путь, по которому народ еврейский должен пойти для достижения своей конечной цели:

1. Прежде всего, необходимо выхлопотать у Порты обширную территорию на началах сюзеренства, санкционированного международным решением держав.

2. Одновременно необходимо создать два общества:

а) Еврейское общество и

б) Еврейский союз, из коих первое — комитет исполнительный, а второе — орган законодательный и подготовительный. Последний ликвидирует повсюду дела эмигрирующих в Палестину евреев и организует в Палестине все необходимые учреждения.

Сама эмиграция должна идти в определенном порядке, группами, а не в хаосе, массами. Сперва пойдут чернорабочие, которые построят города, мосты, дороги, телеграфы; а за ними последуют купцы, фабриканты и интеллигенция, сотрудничество с которыми для создания торговли, промышленности и рынка сбыта продуктов производства неизбежно.

Еврейский союз избирается из числа лиц, сочувствующих активно сионизму. И его функции должны состоять в представительстве пред державами. Деятельность его капитализируется из средств от акций, согласно английским законам о "чартерных" компаниях. Основной капитал должен состоять из одного миллиарда фунтов и составляться по подписке, падающей обязательно на бедных и богатых, на евреев и симпатизирующих христиан. Подписка эта и послужит активным референдумом, ярким и действенным плебисцитом.

Не теряя времени, Герцль лихорадочно приступает к активной работе: он вербует лично и через ближайших сотрудников новых приверженцев во всех странах мира. А ведь настроение и почва повсюду уже подготовлены, и пропаганда не трудна, и каждое слово падает на плодород-

в грузчики — этого она понять не могла. Открой я ей правду или придумай какую-нибудь фантастическую историю, она бы все равно мне не поверила. Еврей-грузчик — это не укладывалось в ее сознании, окостеневшем от каторжной работы (после смены она спала часок-другой в подсобке и отправлялась в соседний магазин грузить рыбу).

Продавщица Раиса Семеновна стояла на общественной лестнице на пару ступеней выше, чем мы с тетей Пашей. Раисе перевалило за пятьдесят, она являла собой тип неудачницы. Ее любовник — горький пьяница, которого она с ноткой гордости именovala "мой сожитель" — был моложе ее лет на пятнадцать. Являясь в булочную, он вызывал Раису в коридор и грозно и решительно вымогал деньги "на бутылку". Надо отдать ему должное: купив бутылку, он возвращался в булочную и наливал Раисе полстакана. Раиса пила с горьким удовольствием, зажевывала хлебом и, ошастливленная вниманием "сожителя", возвращалась к прилавку. Однажды, в ночь с субботы на воскресенье, она взяла из подсобки несколько связок бубликов последнего завоза и наутро отправилась на пляж в Серебряный бор. Ее коммерческая затея не отличалась особой изобретательностью: Раиса намеревалась продать бублики поштучно, чуть дороже номинала, вернуть истинную стоимость в кассу булочной, а разницу отдать "сожителю": день рождения у него был в это воскресенье, то ли именины... Около полудня Раиса вернулась в булочную. В руке она тащила авоську с бубликами, вернее, с тем, что от них осталось: на пляже внезапно хлынул ливень и превратил бублики в ком склизкого теста... Сев на краешек сухарного ящика, Раиса рыдала, размазывая по нарумяненным щекам слезы и мокрое бубличное тесто. Она потеряла все, Раиса: и бублики, и надежду порадовать своего кобелька. Миллиардер, разорившийся до последнего цента, не рыдал бы так искренне и безутешно, как она.

— Давай скинемся по рублику, — сказала мне тетя Паша.  
— Жалко Райку-то, дуру...

Как-то раз тетя Паша увидела у меня в руках учебник иврита.

— Это что будет? — спросила тетя Паша.

Я молча протянул ей книгу.

— Не по-нашенски... — разглядывая буквы, сказала тетя Паша и покачала головой — то ли удивленно, то ли осуждающе.

А уволили меня из-за бороды.

От кого-то я слышал, что еврей, вступая в борьбу, отращивает бороду и не сбривает ее до победы — или до смерти. Вот я и оброс дикой бородой.

Однажды меня вызвала директриса — рыхлая женщина с жирными розовыми пальцами, унизированным дешевым золотом.

— Что это ты бороду-то отрастил, — сказала директриса. — Аж глядеть противно.

— А что, — спросил я, — нельзя разве? Где это написано?

— А то, что клиенты жалуются, — сказала директриса. — Ты у них весь аппетит своей бородищей отшибаешь.

— Я рабочий человек, грузчик, — заметил Я. — В торговый зал не выхожу, за прилавком не стою. Мое дело — грузить.

— Ладно, — сказала директриса, — ишь ты, грамотный какой... Или побройся, или уходи от нас.

Свят хлеб — и слово само, и понятие. Человек, заметив корочку на мостовой, нагнется, подымет ее, отложит в сторонку из-под ног прохожих. Сносно работать евреям при русском хлебе из американской пшенички.

Бороду я не сбрил, а пошел работать в зоопарк. Львам это все равно — какой у тебя пятый пункт в паспорте. И борода твоя аппетит им не портит: они сами едят, и тебе не дадут пропасть с голоду.

# **НАША ЗЕМЛЯ**

**МОРДЕХАЙ АБИР**

## **ИСТОРИЯ**

### **ЗАСЕЛЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ**

Значительная часть израильской общественности имеет весьма смутное представление об истории арабского заселения Палестины. Средства массовой информации нередко сообщают нам о 1200-1300 годах, как о периоде непрерывного арабского заселения. Так как речь идет об очень важном вопросе, разумно рассмотреть его со всей тщательностью, чтобы выяснить, истинны ли такие утверждения или же являются они результатом преувеличения и невежества.

Арабы захватили Палестину и начали селиться в ней в первой половине 7 века н.э. /основной процесс колонизации относится к 634-638 гг./. В этот период первичного заселения арабы составляли довольно тонкий слой населения — военную аристократию. Они осели, главным образом, в уже существовавших крупных городах и за все время своей власти основали всего лишь один город — Рамле.

Арабские владыки страны существовали в ту эпоху за счет налогов, взимаемых, в основном, с сельских жителей и со всего прочего неарабского населения страны. Население же это было очень разнородным и состояло, преимущественно, из евреев, различных арамейских элементов, самаритян и групп беженцев, которые прибыли в страну в разные периоды из отдаленных районов /греки, финикийцы и бедуины, вторгшиеся в страну из пустыни/.

Число евреев в Палестине в то время было значительным. На это, в числе прочего, указывает и тот факт, что Вениамин Галилейский собрал в тот период армию, насчитывавшую не-

сколько тысяч евреев, и помог мусульманам захватить страну.

В среде неарабского населения начался и быстро распространился процесс перехода в мусульманство, означавший не только присоединение его к привилегированной культурно-общественной группе, но приносивший весьма ощутимые экономические блага: известные облегчения в уплате налогов и даже пособия из государственной казны.

Процесс исламизации, который захватил и немало евреев, привел, со временем, к взаимной ассимиляции арабов-колонизаторов и местного населения.

### ПАЛЕСТИНА – ЧАСТЬ ОКРУГА СИРИИ

В период арабского владычества в стране, как и в период пришедшей ей на смену власти турок-османов, Палестина не представляла собой ни отдельной, ни единой административной единицы. После захвата страны арабами Палестина стала частью округа Сирии. Округ этот был разделен на военные области, каждая из которых обязана была содержать воинскую часть. Область Палестина /"Джунад Фаластин"/ охватывала Иудею и Самарию с центром в Лодде. В течение девяноста лет правления халифов династии Омейядов /661-750 гг./ Сирия превратилась в центр и опору власти всей мусульманской империи. Из соображений внутренней политики Омейяды стремились поднять значение Иерусалима, близко расположенного к их столице Дамаску. Были сочинены и распространены легенды, представляющие Иерусалим, как святое для мусульман место, например, легенда о чудесном вознесении Магомета на небо с Храмовой горы. В те же годы были начаты застройки района вокруг бывшего храма. Некоторые остатки пышного строительства той эпохи обнаружены при археологических раскопках на Храмовой горе.

## НЕПРЕРЫВНАЯ СМЕНА НАСЕЛЕНИЯ

В 750 г. в мусульманской империи произошла революция, и на смену Омейядам пришла династия Аббасидов. Центр мусульманской империи переместился из Сирии в Междуречье /теперешний Ирак/, и Палестина превратилась в отдаленную провинцию, незащищенную от вторжений племен бедуинов, уничтожавших посеы и грабивших земледельцев. Но несравнимо хуже набегов бедуинов были непрерывные на ее территории военные действия.

Во второй половине 10 века /969 г./ образовался в Египте враждебный Аббасидам халифат династии Фатимидов, представители которых уже длительное время правили на значительных территориях Северной Африки. В течение более чем ста лет воевали между собой два халифата, а Палестина, как и в прежние времена, была перекрестком, по которому с переменным успехом двигались войска. Излишне добавлять, что каждый этап военных действий приводил к гибели посевов, разрушению селений и к убийству мирных жителей.

Это был период хаоса, период переселения народов и народностей, период смены населения во всем районе Благодатного Полумесяца, включая Палестину. Из Средней Азии перекочевали турки-сельджуки, близкие по происхождению туркам-османам. Они приняли мусульманство и превратились в главную опору власти Аббасидов. Фатимиды же, со своей стороны, строили свою армию на основе северо-африканских народностей — "чистых" берберов, берберов, ассимилированных арабами, арабов племени Магриба.

Туркменские племена, кочвавшие вдоль и поперек Персидского плоскогорья, дошли до Палестины и частично поселились в ней. И при всех переменах отчетлив процесс поселения наемных солдат местных гарнизонов — процесс, продолжавшийся до конца периода правления турков. В XI ве-

ке среди этих солдат выделялись сельджуки, персы, курды и туркмены, а позднее, в османский период — турки, жители Магриба, выходцы с Балкан и Кавказа, бедуины. Солдаты селились в стране и превращались в естественную часть ее населения.

Но Палестина, Эрец-Исраэль, которая когда-то была "страной, текущей молоком и медом", тем временем, превратилась в страну, "пожирающую жителей своих" /"арец охелет тошвея"/ — из-за частых войн, из-за отсутствия сильной, поддерживающей закон власти, способной остановить вторжение народов пустыни в районы обрабатываемых земель и предотвратить превращение целых районов в болота, кишящие малярийными комарами. В районы, обедневшие населением, время от времени приходили новые поселенцы, так что в течение столетий в Палестине наблюдалась очень высокая степень смены населения.

## ПАЛЕСТИНА ПЕРИОДА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ

К населению Палестины, которое и до того отличалось чрезвычайной разнородностью, добавился в период между XI и XIII веками новый элемент — европейцы. За 250 лет правления крестоносцев в страну прибыли многие десятки тысяч жителей из Германии, Австрии, Англии, Франции и Италии. Среди них были военные, паломники, торговцы, богатые и бедные. Аристократы, разделившие страну на феодальные поместья, привезли из Европы солдат и крестьян и поселили их на своих землях. Это объясняет появление монументальных строений периода крестоносцев, остатки которых видны и по сей день. Гигантская трапезная ордена госпитальеров в Акко вмещала сотни, а может быть, и тысячи людей одновременно. И хотя многие из этих людей вернулись в свои страны, иные погибли в ходе войн, —

определенное число европейцев, несомненно, осталось в Палестине. Если сегодня среди арабских жителей страны мы видим немало светловолосых и голубоглазых, то они — не столько потомки солдат Наполеона, сколько, главным образом, потомки крестоносцев, осевших в Палестине и слившихся с местным населением.

А кто нес знамя ислама в борьбе с крестоносцами? Не арабы, а наемники и мамлюки. Мамлюки — освобожденные рабы Центральной Азии — в течение длительного периода являлись элитой и костяком офицерства египетской армии /многие из потомков осели в Палестине/. О роли же курдов в мусульманских войсках говорит, в частности, то, что Салаад-Дин, нанеший крестоносцам сокрушительное поражение при Хиттине на севере Палестины, был курдистанского происхождения, и немалое число его соотечественников также поселились в Палестине.

### АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ В ПЕРИОД ТУРЕЦКОЙ ВЛАСТИ

Армия мамлюков потерпела поражение под Халесом в 1516 г. от османского султана Селима 1. Этой победой начинается четырехсотлетняя эпоха турецкой власти в стране. Палестина снова становится частью огромной мусульманской империи, и, по крайней мере, в первое время в ней существует и поддерживается властями закон и порядок... Но и в этот период страна не рассматривалась как автономная провинция.

Об административном делении Палестины и окружающих районов в течение всей эпохи османского правления говорить трудно, ибо деление это не было постоянным. Наиболее важными в отношении Палестины были округ /вилайет/ Дамаск и округ Сидон. Округ Дамаск включал в себя Восточное Заиорданье, а в определенные моменты и часть Галилеи

и полусамостоятельные в административном отношении районы Шхема /Сихема/ и Иерусалима. Другим важным округом был Сидон, включавший в себя часть территории, сейчас входящий в состав Ливана, иногда — некоторую или даже большую часть Галилеи и меняющиеся по размерам части приморской низменности до горы Кармель и даже до Цезареи /Кесария/. Другими административными единицами, переходившими из рук в руки различных губернаторов, были районы Яффо, Рамле и Газы. Район Газы, временами пользовавшийся правами малого округа /санджака/, был наиболее важным из них, благодаря своему достатку, размерам и месторасположению, так как ему административно подчинялся Негев, хотя это и не имело особого практического значения.

С удивительной легкостью перекраивались административные границы. Они зависели от силы, характера и любви к взяткам губернаторов вилайетов Дамаска, Сидона и санджака. Если во главе, например, санджака Газы стоял человек, обладавший связями и деньгами, он мог получить под свое правление даже Иерусалим, принадлежавший к вилайету Дамаска. Во всяком случае, бросается в глаза тот факт, что в течение двух тысяч лет, предшествовавших британскому мандату, не было ни одного периода, когда страна представляла бы собой административную единицу или, хотя бы, находилась под единой властью. Ближе всего к централизованной власти Палестина подошла в конце ХУШ века, когда знаменитый Джеззар-паша правил не только вилайетом Сидон, но и вилайетом Дамаск и сконцентрировал в своих руках власть над Иерусалимом, Шхемом и рядом других районов.

#### ПРИМОРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ И ДОЛИНЫ ПУСТЕЮТ

Начиная с ХУП века, происходит непрерывное разложение Османской империи. Нарушается законность и порядок, ос-

лабевают центральная власть, усиливается влияние местных правителей, учащаются и углубляются набеги бедуинов, которые через Эздрелонскую долину и приморскую низменность проникают во все районы страны и сеют смерть и разрушение в невиданных даже для этой многострадальной страны размерах. Постепенно исчезают сельскохозяйственные поселения в долинах и приморской низменности, земледельцы концентрируются в деревнях на вершинах холмов Иудеи, Самарии и Галилеи. Причины такой миграции многообразны: страх перед бедуинами, желание избежать нажима властей, соседство малярийных болот.

В этот период Галилея превратилась в относительно плодородный и безопасный район и привлекла к себе новых поселенцев. Вначале мы наблюдаем проникновение в Галилею друзов. Друзы прибывают с юга Ливана и расселяются по Галилее вплоть до горы Кармель. Позднее, в ХУП веке, начинается подобное же проникновение арабов-шиитов с юга Ливана, принесших с собой некое подобие феодальной политической системы.

### ВО ВСЕЙ СТРАНЕ – 250 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ

Сохранились достаточно подробные и достоверные документы, позволяющие нам воссоздать с большой ясностью картину развития и состояния страны, начиная с ХУШ века. В годы египетской власти в Палестине и Сирии (1831-1840), в период правления Мухаммеда Али, впервые была проведена перепись населения. Во второй четверти прошлого века все население страны составляло не более 250 тысяч человек, четвертая часть которых исповедовала христианство и иудаизм.

Другим важным источником сведений о стране в ту эпоху являются книги, написанные арабами — жителями Ближнего Востока. Авторами некоторых из книг были частные

лица, писавшие для собственного удовольствия или для сохранения истории своих семей. Бросается в глаза тот факт, что известная часть этих писателей связывала вместе историю Западного берега Иордана и Заиорданья: немалая часть жителей Западного берега являлась потомками бедуинов Заиорданья, поселившихся в Западной части Эрец-Исраэль.

Другие книги той эпохи написаны приближенными местных властителей и описывают с большой подробностью деятельность отдельных начальников-губернаторов. Общим для всех этих книг является то, что они основываются на достоверных данных и полны интересных деталей в отношении всего происходящего в стране в ту пору.

Картина, которая предстает перед нами при чтении всех этих книг, достаточно грустная: страна опустевает, обедняется населением — и в результате военных действий, и "естественным путем", а на место старых жителей приходят новые поселенцы из-за границы. Джеззар-паша, губернатор Сидона, в конце XVIII века уничтожил значительную часть населения Галилеи, принадлежавшую к секте шиитов.

Сам же Джеззар-паша, равно как и его предшественники и наследники, привел в страну мусульман-суннитов, чтобы заселить ими целые районы в Галилее, а наследники Джеззар-паши исламизировали жителей Назарета и его окрестностей, исповедовавших христианство. В числе иностранцев, привезенных в страну для заселения Галилеи и приморской низменности, были бедуинские племена из Египта, бедуины Заиорданья /промышлявшие разбоем и грабежом паломников, направлявшихся в Мекку/, солдаты-наемники из Албании и других районов Балкан /они поселились в окрестностях Акко и в Кесарии/, племена черкесов и другие. Имя нынешнего мэра Хеврона — али Джабри — показывает, что его предки прибыли в Палестину из поселения Джабар в Ираке.

### ЗЕМЛЕТОРГОВЦЫ НАСМЕХАЛИСЬ НАД "ГЛУПЫМИ ЕВРЕЯМИ"

Начиная с ХУП века вплоть до конца XIX века Палестину посетили многие путешественники из Европы и Америки. Они оставили после себя книги, в которых повторяются крайне грустные картины запустения страны и нищеты ее населения. О приморской низменности, например, авторы рассказывают, что она почти совершенно безлюдна из-за малярийных болот, образовавшихся на месте засоренных устьев рек. Путешественники писали, что можно целый день ехать по приморской низменности, не встретив по дороге ни одной деревни. Присмотрев же в стороне человеческое поселение, путник обнаруживает там несколько жалких глинобитных хижин, в которых ютятся голодные и больные крестьяне.

Первые еврейские поселенцы избрали приморскую низменность не потому, что она была плодородна /горные районы казались в ту пору значительно более плодородными/, а потому, что не представляло никакой трудности купить там землю: эфенди, которым принадлежали земли, были только рады избавиться от них, и евреи в их глазах были глупцами, решившими поселиться в опасном для жизни районе. Могло показаться, что эфенди правы: рассказы первых поселенцев полны описания малярии, поражавшей их везде — в Ришон-Леционе, Реховоте, Хедере и в любом другом месте приморской низменности. Та же история повторялась в Мишмар-Гаярден, в Эздрелонской долине и т.д.

### РАЙОНЫ ПОСЕЛЕНИЯ ЕВРЕЕВ – ПРИТЯГАТЕЛЬНАЯ СИЛА ДЛЯ АРАБОВ

Нет сомнения, что первые еврейские поселения привлекали в свои окрестности и поселенцев-арабов, которые могли рассчитывать на работу в еврейских хозяйствах. Но период

широкого расселения арабов в приморской низменности начался позднее — в начале XX века и, главным образом, в период британского мандата. Достаточно напомнить об арабских деревнях, возникших вокруг большого британского военного лагеря в Сарафенде /Црифин/ — целые деревни были построены для рабочих, которых британские власти привезли из Ирака и Египта для обслуживания военных лагерей. Из Трансиордании привезли племена Хуранов для выполнения сезонных или просто тяжелых работ /ручная переноска тяжестей в портах и т.д./. Многие из этих людей поселились в стране. Очень интересное исследование на эту тему опубликовано в Лондоне / Арабская эмиграция в Палестину в 1922-1931 гг., октябрь 1973/. Основываясь на статистических данных мандатных властей, автор исследования Готхайль указывает на удивительный факт: в районах страны, незаселенных евреями и после 1949 года оставшихся "вне зеленой линии" /линии перемирия/ и в период, охваченный исследованием, процент прироста населения равен проценту прироста населения и в других странах Ближнего Востока. В районах же еврейских поселений за то же десятилетие население выросло на десятки процентов больше. Готхайль указывает и на поразительный рост арабского населения в городах приморской низменности, но не в арабских городах, расположенных в горных местностях. Например, население Яффо в течение одного десятилетия выросло на 160 процентов, в то время как естественный прирост не мог составить за этот период больше 30-40 процентов. Автор исследования пришел к заключению, что явление объясняется свободным приездом новых жителей в эти районы, в том числе и из-за границы. Переселение арабов, происходившее с разрешения британских властей, а нередко и поощряемое ими, уравнивалось, а в определенные периоды и превосходило размеры еврейской эмиграции.

Готхайль исследует только 1922-1931 годы, но заключения его верны и для более раннего периода и, несомненно, для периода после 1931 года, так как тридцатые годы были годами массовой иммиграции из Германии, массового ввоза капитала и быстрого экономического развития страны. Автор подчеркивает, что в период, охватываемый исследованием, во всех странах Ближнего Востока отмечалось существенное снижение уровня жизни населения, и единственным исключением на этом фоне являлась Палестина, где уровень жизни арабского населения повысился. Понятно, что эта тенденция еще больше усилилась в тридцатые годы, что увеличило приток арабов в районы еврейского поселения страны.

Затем началась Вторая мировая война, и прекратилась алия евреев, но наплыв арабов в страну продолжал расти: британские власти, нуждавшиеся в дешевой рабочей силе для строительства укреплений и других работ в своих лагерях, ввезли в Палестину много рабочих, в большинстве, из Египта, в меньшей мере, из Сирии и Ирака. Иными словами продолжался процесс арабской эмиграции из-за границы.

### НЕДРУЖЕСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ДРУГИХ АРАБОВ СОЗДАЛО ПАЛЕСТИНСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ

Я хотел бы подчеркнуть, что все, что я рассказал о частой смене населения в стране и о значительных изменениях, происшедших в течение столетий в национальном составе, не меняет того факта, что в середине нашего столетия выкристаллизовалось палестинское самосознание.

Правда, когда британские власти ввели в стране после Первой мировой войны мандатный режим, арабы кричали "караул", ибо видели в этом шаге создание искусственной политической единицы, отделявшей от Сирии ее южную часть. Однако несколько позднее, в тридцатые и сороковые

годы, арабы, или, по крайней мере, образованная часть их, начали свыкаться с мыслью, что они представляют собой нечто самостоятельное и особое. На это, несомненно, оказал влияние тот факт, что вокруг Палестины арабские страны начали постепенно складываться как самостоятельные единицы под мандатной властью Великобритании или Франции. Кроме того, в создании палестинского самосознания можно видеть нечто вроде ответа, реакции на еврейское национально-освободительное движение, стремившееся создать в стране свою собственную политическую единицу.

Этот процесс не был гладким. До 1947 года в среде арабской элиты продолжались крайне резкие столкновения мнений и споры в отношении национального самосознания и национальной принадлежности. Эти споры прекратились лишь в 1948 году. Если можно сегодня говорить о палестинском народе, то лишь потому, что была война 1948 года и все, что за ней последовало. Это национальное чувство палестинских арабов появилось и расцвело на почве отрицания: отрицания сионизма и противодействия укоренению в стране евреев. Но, с другой стороны, это развитие происходило на почве, всегда являющейся важной основой для возникновения народа: общий язык, общая религия, общая культура и общее национальное самосознание. Это самосознание усилилось и укрепилось после 1948 года, когда арабам Палестины был преподнесен прекрасный урок в отношении истинной цены лозунгов панарабизма: арабские соседи, создавшие свои национальные государства, увидели в палестинских беженцах инородное тело и отказались абсорбировать их экономически и социально. Единственные, кто готовы были абсорбировать палестинцев — иорданцы, ибо они — их ближайшие родственники: на Западном берегу Иордана не найдешь почти ни одной семьи, у которой не было бы родственных связей с несколькими семьями Заиордания. Эти связи, столь тесные до 1948 года, намного усилились после войны за Независи-

мость — и в результате абсорбции беженцев в Заиорданье, и в результате постоянного переселения жителей с Западного берега на Восточный.

Если бы не связанные с этим политические факторы, если бы не бескомпромиссная позиция и угрозы террористических организаций, многие палестинцы открыто признали бы, что для них "Палестина" — это королевство Иордания с добавлением тех частей Западного берега, которые удастся к нему присоединить.



## ПРОРОЧЕСТВО ЕРЕТИКА

Весной 1879г. в издаваемом в Вене на иврите трехмесячнике "Га-шахар" (под редакцией популярного публициста и романиста Переца Смоленскина) появилась статья под названием "Важный вопрос". В ней впервые было употреблено новосозданное слово на иврите, означающее "национализм" ("ле'омут", теперь — "ле'умиут"). Автор статьи, молодой студент медицинского факультета в Париже, выходец из России, которому тогда исполнился только 21 год — Лазарь Игудович Перельман, — доказывал, что возрождение народа должно происходить путем возвращения не только на родину, но и к своему языку и к своей культуре. Чтобы воскресить язык, надо на нем заговорить, он должен быть не только языком религии и литературы, но и стать гибким языком повседневной жизни.

Для того времени это были еретические мысли. Первый еврейский еженедельник "Га-магид", выходивший в Германии, отказался напечатать эту статью. Журнал этот, предназначавшийся, преимущественно, для русских евреев и лишь по цензурным условиям выходивший за пределами России, опасался, что из-за помещения такой экстремистской статьи может потерять расположение ортодоксальных кругов, которые в предложении приспособить иврит к потребностям повседневного обихода увидят профанацию священного языка. Редактор "Га-шахар" Смоленскин тоже колебался, прежде чем согласился опубликовать статью, в которой утверждалось, что сохранение и обновление еврейской

нации возможно лишь при возрождении страны предков и обновления национального языка. Статья молодого автора была подписана "Бен-Иегуда", и "Бен-Иегуда" стало литературным псевдонимом писателя, а после переселения в Палестину — его официальной фамилией.

В октябре 1881г. Бен-Иегуда прибыл в Палестину. В своих мемуарах он рассказывает, как с момента прибытия в страну он говорил только на иврите, хотя сфера устной речи в то время была весьма ограничена. Бен-Иегуда установил два принципа: по-первых, иврит должен стать разговорным языком семьи, улицы, быта и, во-вторых, иврит должен быть введен как язык всех предметов еврейской школы, чтобы ребенок ощущал его, как родной язык. Не может быть живой литературы без живого языка, и не бывает литературного расцвета там, где язык не имеет ничего общего с повседневной жизнью. Только тогда, когда язык будет введен в семью и школу, и мы научимся выражать наши мысли на иврите — наступит возрождение языка и еврейского духа.

Бен-Иегуда был человеком действия. Он не считал возможным ограничиться статьями в газетах. Слова должны быть претворены в жизнь. Иврит стал единственным языком, на котором разрешалось говорить в доме четы Бен-Иегуда. Вероятно, это была первая за две тысячи лет-рассеяния еврейская семья, в которой все, от главы до прислуги, говорили на иврите. Сам Бен-Иегуда говорил только на иврите и дома, и на улице, и в кругу своих друзей. Он стал преподавать в первой еврейской школе в Иерусалиме и издавать свой еженедельник, который порою менял формат и название из-за враждебного отношения турецких властей и антагонизма крайних еврейских религиозных кругов. На страницах своего журнала он вел упорную борьбу за идеи современного просвещения, культуры и возрожденного и обновленного языка. Журнал давал ему возможность распростра-

нять живые речевые формы, создавать новый литературный стиль, выковывать новые слова. Ежедневно — дома, в школе, на улице — ему приходилось сталкиваться с отсутствием на языке иврит соответствующих слов для предметов быта и бытовых выражений. Ему было ясно, что должны быть предприняты конкретные шаги для пополнения запаса этих каждодневных слов. Новые слова должны быть созданы для новых концепций и понятий, которые раньше никогда не находили выражения на языке иврит. Логичным выводом было составление словаря, базирующегося на осознании лингвистической и исторической преемственности языка — от Библии и до современного языка. С редкой беззаветностью посвятил себя Бен-Иегуда задаче и работал над составлением словаря до своего смертного часа. Пять томов монументального словаря были опубликованы при его жизни, остальные 12 томов, почти полностью подготовленные к печати, вышли в свет под редакцией президента Академии иврита профессора Н.Тур-Синая. Последний том был издан в 1959г.

Этот многотомный филологический словарь еврейского языка — Милон галашон гаиврит — не только служил научным целям, но и сыграл исключительную роль в превращении иврита в разговорный язык. Значение каждого слова объяснялось на иврите, а во многих случаях — и на французском, немецком и английском. При этом приводится корень каждого слова, его употребление и произношение и указывались изменения, которым слова подвергались в разное время. Давались также сопоставления еврейских слов со схожими по конструкции и значению словами других семитических языков.

Помимо составления словаря, Бен-Иегуда до последних дней своей жизни принимал живое участие в деятельности основанного им Института языка — "Ваад галашон".

В языке не хватало таких обычных слов, как "газета",

”часы”, ”кухня”. Необходимость восполнения этого пробела требовала планируемого новаторства. Там, где не хватало надлежащего слова, ”Ваад галашон” создавал новые слова, настолько близкие по форме к уже существующим, что не чувствовалось новаторства. Когда этот метод был неприемлем, вводились гебраизированные арамейские слова.

В результате, еврейский язык обогатился значительным количеством новых слов. Даже сравнительно краткий словарь строго консервативной тенденции (Эвен-Шошан, 1955) содержит 30% слов, созданных в течение последнего пятидесятилетия. Разумеется, нововведенных слов гораздо больше. Есть много речевых областей, где нехватка слов восполнялась не только образованием соответствующего выражения по принципу его построения в каком-нибудь иностранном языке, но и словами, взятыми из еврейских диалектов и арабских и европейских языков. Это относится, главным образом, к эмоциональным и нарицательным словам (восклицаниям, приказам, просьбам, приветствиям, проклятиям и т.п.), а также к словам интимным и ласкательным.

Сегодня иврит — нормальный язык письменности и устной речи.



## ”ЕВРЕЙСКАЯ СТАРИНА”



Знакомство с еврейскими печатными органами на русском языке мы начнем с издания, которое прекратило свое существование одним из последних, — с трехмесячника “Еврейская старина”.

Это был журнал Еврейского Историко-Этнографического Общества, основанного в Петербурге в 1908 году и насильственно распущенного в 1929 году. Инициатором создания общества и его душой был крупнейший еврейский историк второй половины прошлого и первой половины нашего века Семен (Шимон) Дубнов. Он же на протяжении 10 лет был главным редактором “Еврейской старины”.

В обращении “От редакции”, которым открывался первый выпуск и которое, вне всякого сомнения, принадлежит перу самого Дубнова, говорилось:

“Мы приступаем... к заполнению пустого места, выделявшегося печальным пятном в литературе старейшего культурного народа. Мы приступаем к систематическому исследованию многовекового прошлого той половины еврейства, историческим центром которой является европейский Восток — Польша и Россия... В то время, как история евреев в западной Европе уже более или менее разработана,... не менее богатая и разнообразная история евреев восточной Европы находится в печальной стадии своего развития. Зная качество и количество материала, ожидающего разработки, мы можем заранее сказать, что в данной области историко-этнографическое исследование может достигнуть гораздо более блестящих результатов, чем на Западе, — конечно при наличии творцов и работников”. Далее указывалось, что хронологических рамок для исторических работ редакция не устанавливает никаких (от первых еврейских поселений

в восточной Европе до событий последнего времени), в области же этнографической намерена отдать предпочтение фольклору. Будущим авторам представлялась полная свобода обработки материала: “В “Еврейской старине” найдут место и строго научные исследования на основании первоисточников или неизданных материалов, и оригинально обобщенные группы исторических и этнографических данных, и сырой материал, надлежаще систематизированный и объясненный; рядом будут помещаться мемуары и переписка деятелей недавнего прошлого, всякого рода документы и сообщения по части истории и фольклора, обзоры еврейской научной литературы и т. п.” Мы не зовем в прошлое, объясняет Дубнов, чтобы скрыться от печали настоящего. Цепь народных переживаний едина, четкой грани между старым и новым не существует. “Историческое мышление... ведет ч е рез старое еврейство к новому, ... освещает наш путь не тусклой свечой переживающего момента, а ярким факелом веков, всей совокупности пережитого”.

Эта столь широко задуманная программа успешно осуществлялась. Сотрудниками журнала стали лучшие ученые, прекрасные публицисты, известные общественные деятели. В “Еврейской старине” печатались Максим Виновер, один из основателей конституционно-демократической (кадетской) партии, депутат Первой государственной думы; Юлий Гессен, крупный статистик советского времени и один из самых блестящих еврейских ученых, автор большой монографии “История евреев в России” и сотен превосходно написанных статей; Меир Балабан, историк польского еврейства, активный участник “Еврейской энциклопедии”, директор варшавского института еврейских исследований (он умер в Варшавском гетто в 1942 году); Петр (Пейсах) Марек, главным трудом которого было собрание “Еврейские народные песни в России” (на идиш); историки Михаил и Иосиф Кулишер (отец и сын), члены знаменитой семьи просветителей, занявшей прочное место в истории российского еврейства, начиная с середины прошлого века; Сергей Цинберг, подобно Гессену имевший и “мирскую” специальность (он был инженер-химик), но оставивший громадное литературное наследие (назовем лишь главный его труд — “Историю еврейской литературы” в 8 томах, написанную на идиш и охватывающую 7 веков от расцвета еврейской литературы в Испании до конца гаскалы, просветительства в России); знаменитый еврейско-русский беллетрист Ан-ский, выступавший здесь в научной своей ипостаси виднейшего фольклориста российского еврейства. Регулярно публиковал свои работы и сам Дубнов.

Приведем еще одно имя, быть может, не особо громкое в истории “Еврейской старины”, но громко звучащее сегодня, — З. Рубашев. Третий президент нашего государства Залман Шазар (Рубашев) начинал свою ученую деятельность на русском языке — тремя маленькими статьями о саббатизме в восточной Европе.

Четыре выпуска одного года имели единую, сквозную нумерацию (пагинацию) и — переплетенные вместе — образовывали единый том-ежегодник. Издание выходило регулярно и беспрепятственно до начала Мировой войны. Война сразу разрушила сложившийся коллектив авторов, прервав всякую связь с сотрудниками в Германии и Австро-Венгрии. С осени 1915 года цензура запретила публиковать в периодической печати какие бы то ни было тексты на еврейском языке. Помимо того, что это невероятно затруднило работу над каждой статьей, оказалось невозможным продолжить и завершить публикацию приложения, завершавшего прежде каждый выпуск, исторического источника первостепенной ценности — “Областного Пинкаса Ваада главных еврейских общин Литвы”. (Эта хроника общинной жизни польско-литовского еврейства XVIII века печаталась в сопровождении русского перевода). И все же, несмотря на трудности, Дубнову и его коллегам удалось выпустить три военных тома (1914, 1915, 1916).

Следующий том вышел после двухлетнего перерыва — уже после революции, в 1918 году. По объему весь том был немногим более, чем один кварталный выпуск в прежние времена. Редактором по-прежнему был Дубнов. В заметке “От редакции” указано, что деньги на издание X тома дали “новые органы нашей национальной автономии — советы еврейских общин Петрограда и Москвы”. По общему характеру том мало чем отличается от предыдущих; влияние революции, чувствуется, пожалуй, лишь в публикации “Из “черной книги” российского еврейства. Материалы для истории войны 1914 — 1915”.

Следующему, XI тому (о поквартальных выпусках забыто раз и навсегда) суждено было выйти лишь в 1924 году. За эти годы эмигрировал из Советской России Дубнов, и место редактора заняла редакционная коллегия во главе с председателем Львом Штернбергом, старым революционером-народовольцем, просидевшим чуть ли не полжизни в царских тюрьмах и ссылках и ставшим крупным этнографом, специалистом по малым народам Сибири. Членами редколлегии значились: И. А. Клейнман, С. Г. Лозинский, М. М. Марголин, С. Л. Цинберг. Редколлегия сообщала, что за истекшие 6

лет произошли громадные перемены, многие жгучие прежде вопросы потеряли остроту, а с другой стороны, горизонт наших исторических разысканий расширился: "Мы ныне можем выйти из тесных рамок истории евреев в России, Польше и Литве. Мы можем себе позволить роскошь приняться за разработку самых разнообразных общих и частных проблем нашего прошлого на протяжении всех эпох и всех стран еврейского пребывания". "Еврейская старина" сможет уделить внимание "участию евреев в политической жизни и революционно-социалистическом движении" и особое внимание — антропологии и этнографии в связи с коренными изменениями в культурной и экономической жизни "широких еврейских масс за годы революции". И если последнее из обещаний выполнить не удалось (вне всякого сомнения — не по вине редакции), то расширение тематики ощущается вполне отчетливо. И в этом томе, и в следующем (XII — 1928 год), печатаются работы по библеистике, по истории евреев в античном мире и в средневековой западной Европе. Наряду с еврейскими именами, старыми и новыми, в списке авторов появляются имена ученых и нееврейского происхождения (В. Струве, А. Самойлович, Н. Никольский — все специалисты первой величины). Одно остается неизменным — высокое научное качество издания и неизменная, бескомпромиссная преданность его руководителей своему народу. Не случайно, что последний (XIII) том, вышедший в свет уже после закрытия властями Еврейского Историко-Этнографического Общества, которое Евсекция без устали травила доносами и клеветой, последний том подписан уже не коллективно, редколлегией, а именем одного лишь Сергея Цинберга, сгинувшего в концлагерях.



## ИЗ ЗАПИСОК ЭМИГРАНТА

1881 ГОДА \*

Первый день марта 1881 года — день тучи и мрака для всех жителей России: убит их царь-освободитель Александр II; евреев же окутал с того дня сутубый мрак. Враждебные евреям газеты стали трубить ежедневно, что во всех бедствиях России виновны одни только дети Израиля. "Новое Время" поставило на очередь вопрос, который не завадался с средних веков: "бить или не бить евреев?"\*\* "Новороссийский Телеграф", пережевывая жвачку петербургской газеты, подносил своим читателям ядовитые статьи в том же духе, призывая мстить народу и без того обездоленному. О том же шумели и другие юдофобские газеты...

---

\* Автор записок, бедный учитель еврейского языка Лейб Криппе, жил в Одессе в ту роковую весну 1881 года, когда весь юг России был охвачен эпидемией погромов. Разоренный и душевно потрясенный, автор уносится эмиграционной волной в Константинополь (1881–82 г.) и позже — в Париж. Особенный интерес представляют не столько внешние описания одесских событий 1881 г. (их уже коснулись в своих воспоминаниях — Сонин в "Евр. Старине" в Бен-Ами в "Евр. Мире" 1909 г.), сколько типичные для массового эмигранта переживания в стране исхода и на чужбине. — Записки Л. Криппе, кое-где имеющие форму дневника, написаны на древнееврейском языке старым, несколько витиеватым стилем. Мы перевели из них, в упрощенном виде и с сокращениями, наиболее важные фактические части, оставляя в стороне рассуждения и сердечные излияния автора, а также эпизоды, лишенные исторического интереса. Местами мы размещали отрывки иначе, чем в оригинале, соединяя однородные эпизоды, разделенные отступлениями. Оригинал записок доставлен нам дочерью покойного Криппе.

\*\* Статья юдофобской газеты под заглавием "Бить или не бить?" была напечатана уже после первых погромов в Елизаветграде и Киеве, в мае 1881 г.

Первая вспышка произошла в (15) день апреля (1881 г.). Как громовой удар пронеслась по телеграфным проводам потрясающая весть из большого, населенного множеством евреев, города Елизаветграда о том, что банды босяков произвели там погром. В (27) день апреля такие же страшные вести пришли и из Киева.

После киевского погрома следы поджигателей показались и в Одессе. Со дня на день растут здесь сборища темных лиц в центре города, на рыночной площади, где продаются старые вещи (Толкучий рынок), в примыкающих к ней кабаках и трактирах, — а полицейские надзиратели смотрят и молчат. "Новороссийский телеграф" неустанно разжигает страсти против евреев. Еврейская масса видит, как разгорается пожар, как его сейчас еще можно потушить одним ведром воды, прежде чем разольется море огня; но гасители — стражи порядка — смотрят издали и шепчутся между собой. Евреи совещаются: обороняться или нет...

Шум не утихает. Толпы (громил) разделяются на группы, распределяются по всему городу как отряды врывающейся в город армии. Торговля остановилась. Бедняки-евреи и русские — чахнут с голоду. Число их увеличивается бедняками, бежавшими в Одессу из Елизаветграда и Киева...

В дни 29—30 апреля и 1—2 мая толпы босяков там и сям затевают драки в кабаках, содержимых евреями; но запуганные евреи поспешно удаляются от мест столкновений. Еврейские лавки закрыты. Полиция не позволяет даже двум-трем евреям сходить на улицах и площадях; банды же босяков собираются десятками — и полиция не мешает...

Воскресенье, 3 мая, было роковым днем для евреев Одессы. Еще рано утром полицейские надзиратели проходили по еврейским кварталам и уверяли, что нечего бояться, что полиция приняла меры для усмирения погромщиков... Толкучий рынок, где бедные евреи зарабатывают крохи хлеба для своих голодных семей куплею и продажей старых

вещей... был облит весенним солнцем. Бедные торговцы со своими пачками под мышкой появились у рыночной площади, успокоенные обещаниями полиции. Начался оживленный торг... Но вот, в три часа пополудни, по проходам между лавками быстро проскакал всадник, и следом за ним, как мыши из своих нор, вылезли босяки и стали бросаться в разные стороны. Евреи тотчас почуяли грозу: одни побросали свой товар, другие наскоро заперли лавки и пустились бежать.

Не прошло и четверти часа, как вся рыночная площадь превратилась в громадную кучу обломков — досок, железа, стекла, разной посуды, одежды, обуви, разбитых бочек и ящиков с текущими из них пивом, водкой, маслом, нефтью и т. п. С площади толпа рассеялась по трем примыкающим улицам и била всех евреев, встречавшихся по пути. Я шел позади одной банды громил, направившейся по Большой Арнаутской улице; по пути она разбивала окна во всех этажах домов, а в кабаках с еврейскими вывесками разрушала все имущество и обстановку. До 8 часов вечера были таким образом разгромлены 16 больших улиц, лежащих в районе Толкучего рынка. Везде были разбиты окна и двери, разорваны одежда, подушки и перины, сломана мебель, — и все это огромными кучами загромождало улицы.

Один парень из банды громил встретил еврея, который в отчаянии искал своего малолетнего сына. Негодяй преградил путь несчастному отцу и, когда тот устремился дальше, схватил его за бороду и ударил головою об стенку так, что брызнула кровь. Проходивший мимо солдат-еврей сжалился над своим избиваемым соплеменником и рукояткой револьвера ударил парня по руке, вцепившейся в бороду еврея. Но тут наскочил казак из отряда, избил еврейского солдата и отвел его в казарму для заключения в карцер.

С наступлением вечера полицейские надзиратели обошли еврейский квартал и приказали дворникам — не впускать во

двор ни одного из жильцов-евреев, который явится позже 9-ти часов вечера.

В ту ночь евреи, жильцы нашего дома по Ришельевской улице, не спали. Они лихорадочно упаковывали свои вещи и отдавали их дворнику дома, чтобы он спрятал. Дворник спрятал вещи в одном большом сарае, повесил на дверях крепкий замок и мелом начертил на них большой крест, чтобы сим знаменем победить босяков...

В понедельник, 4 мая, на рассвете я вышел со двора, прошел ряд улиц и встречал только дворников с метлами. Позже стали попадаться разные мужчины и женщины. Городовые наклеивали на углах улиц плакаты. Я подошел к одному из плакатов и прочел: "Всем жителям Одессы объявляется, что запрещено собираться на улицах и площадях и даже останавливаться для разговора... На улицах, где будут происходить беспорядки, запрещается ходить лицам, к сему непричастным, дабы прохожие не пострадали вместе с виновниками беспорядков. Питейные дома, трактиры и чайные должны быть закрыты в течение трех дней"... Прочитав это, я подумал: ну, мы спасены, ибо блюстители порядка исполняют свой долг...

Но вот я двинулся дальше. В той части города, которая, как мне думалось, еще не пострадала от погромщиков, также оказались разбитые окна, — особенно на Екатерининской и Еврейской улицах. Я подошел к разгромленному району — и до меня донеслись вопли разоренных бедняков, лишившихся последнего скарба, и плач голодных детей, просящих хлеба; я мог только плакать вместе с ними...

Прихожу на рыночную площадь, откуда вчера начался погром — и меня охватывает ужас. Сотни бедняков стоят над обломками и обрывками своего имущества, плачут и стонут... Одна будочка уцелела посреди этого разрушения. Возле нее стоит хозяин и с плачем рассказывает окружающим его людям следующее: "Сегодня утром я пришел сюда

и нашел свою будочку целою и замкнутой. Я побежал домой, принес ключ, открыл ее — и нашел в ней весь мой товар. Взял я товар, запаковал и взвалил сверток на плечи, чтобы перенести в безопасное место; но вот вырастает передо мной фигура городского: он не дает мне унести сверток говоря, что никто не вправе унести отсюда что-либо, пока все не будет собрано в полицейском участке и предъявлено всем пострадавшим. Я послушался, замкнул свою будку и ушел. Пошел домой, сговорился с соседями и вместе с ними отправился к приставу с просьбой — поскорее забрать оставшиеся на рынке товары для сохранения их от грабителей. Но когда мы вернулись сюда с приставом, я увидел, что двери моей будки взломаны, а сверток исчез”...

На городских часах пробило восемь. На площадь откуда-то вылезли босяки, собираются в кучи и по-праздничному едят семечки. Городовой разговорился с кем-то из них, и я прислушался к этой беседе, скрытый от них забором.

— Ну, и ты здесь. Как же прошел вчерашний день? — спросил городской.

— Дай Бог, чтобы все дни были такие, — ответил босяк. — Поработал по совести, сделал больше, чем приказано.

— Ну, а эти товарищи твои?

— И они поработали. Все мы заодно. Если бы только нам позволили, мы бы все в несколько дней...

— А сегодня?

— И сегодня, и завтра, и всегда, если только нам не будут мешать, мы готовы сделать все, — и не найти более верных слуг в таком деле, чем наша компания.

— Да кто же вам мешает? Пустяк. Начальство приказало.

— О, если это приказ начальства, то ведь это золотое время для нас, братцы. Идемте же! Да здравствует начальство..!

— А куда же вы деваете все имущество, которое отбираете?

— В потайное место, которое указано нам нашими предводителями...

...В эту минуту кто-то из компании повернулся в мою сторону — и закричал: "жид! жид! спрятался и подслушивает! бейте его!"... Я уже видел направленные против меня кулаки. Смертельная бледность покрыла мое лицо, дрожь пробежала по телу. Но забор, разделявший нас, спас меня: я быстро вскочил и убежал.

Но я не мог успокоиться и возвратиться домой. Что-то гнало меня на улицы, где свирепствовали громилы. Я ходил там по крлену в пуху, перьях, обрывках одежды и обломках мебели. В некоторых местах запах разлитой водки ударял в нос и прямо опьянял. Я заходил в дома и видел полураздетых женщин и детей, изнемогающих от жажды, так как стеснялись выходить в таком виде к наружным водопроводным кранам, а громилы отняли у них одежду. Беременные женщины падали в обморок от страха.

Часы пробили десять. Офицеры во главе отрядов пехоты начинают обходить улицы; впереди барабанщик и трубач играют боевой марш. Они двигаются по улицам, где собираются поработать варвары-громилы. Звуки военной музыки и топот солдатских ног вливают бодрость в усталую грудь... Но вот часы пробили одиннадцать. Громилы делают свое дело на Преображенской улице, окруженные с трех сторон войском. С криком "ура!" они двигаются, бросают камни, ломают, рвут все на пути. Все входы и выходы на улице заграждены войсками. Я очутился в гуще толпы, ищу выхода — и нет его. Слышу уже сзади крики: жид, жид! бей его!... Вдруг я вижу открытый вход в аптеку. Я вбежал туда, попросил отпустить мне склянку Гофмановских капель и посидел там, пока шум утих. Из окна я увидел, как солдаты окружили одну группу в толпе и отвели ее в полицейский участок.

В час пополудни эти улицы были очищены от громил, и я оставил свое убежище в аптеке, чтобы идти домой.

По дороге я встретил бегущих евреев. — "Куда вы?" — спросил я. — "На Новом Базаре погром" — ответили мне. Я побежал за ними к месту катастрофы и увидел полную картину разрушения. Несколько громил были схвачены и отведены в участок. Слухи идут, что все полицейские участки переполнены погромщиками, которые хвастают, что они вырвутся на свободу и уничтожат евреев...

В третьем часу дня я вернулся в свою комнату, чтобы немного отдохнуть. Но спустя два часа я уже опять был на улице. Тихо... Дует легкий весенний ветерок. По бульвару Александровского проспекта гуляют матери и няни с детьми. На всех улицах печать глубокой печали, униженности и смирения... Я снова пошел на Большую Арнаутскую улицу. Там я поздно сидел у ворот одного дома со знакомым жильцом. Вот выходит какой-то русский человек гигантского роста, и начинает ругать евреев, повторяя фразы "Новороссийского Телеграфа". Евреи молчат. Это еще больше подзадоривает великана — и он делает попытку вступить в драку. Но в эту минуту его сзади хватает городской и арестовывает. Великан вырывается из рук городского, тот дает сигнал свистком — и явившиеся на помощь пять городских забирают агитатора. Тут поднимается со скамьи один господин и начинает упрекать городских за то, что они арестовывают русских людей, выступивших на борьбу с жидами-хриstopродавцами. Городовые хотели арестовать и господина, но тот вынул из кармана бумагу и показал, что он — капитан. Городовые его оставили, но послали позвать околоточного надзирателя. Надзиратель тотчас явился, велел отвести великана в участок, а капитана, после составления протокола, отпустил домой.

Вечером сотня громил ворвалась на площадь старой бойни и произвела там опустошение. Евреи вооружились

палками и метлами с целью отразить нападение. Но тут явились полицейские надзиратели с отрядом солдат и забрали всех, оказавшихся на площади. Около 150 евреев были отведены в участок вместе с толпою громил.

В ту ночь был произведен страшный разгром в предместье Молдаванки и в районе Большого Вокзала. Ужасные безобразия творились там под покровом ночи.

Всех, арестованных в тот день, перевели из различных участков на стоявшие в порту баржи и продержали там восемь дней, до решения их участи.

х    х  
х

Успокоились евреи Одессы.., но замерла и сама Одесса. Торговля в ней остановилась. Нет работы для желающих трудиться, нет хлеба для голодных... Разоренные, но стыдящиеся просить помощи, голодают в тиши, а получают из благотворительных касс только те, которые протягивают руки...

Суд приступил к делу вскоре после погрома. Результат его — такой же, как результат следствия... Самое строгое наказание не превышало шести недель ареста; в некоторых случаях виновных секли розгами — и тотчас отпускали на волю. Вспоминаю один трагикомический случай. Один громил, выпущенный из тюрьмы после шестинедельного сидения, появился на площади, среди народа, и воскликнул: "Кто хочет послужить полиции — пусть сейчас запишется на службу: она ему выдаст отличную награду — вот какую"... И он тут же спустил штаны, поднял рубаху и показал свою исполосованную розгами спину.

А по Югу России еще катится волна погромов из города в город. Паника усиливается. Страх косит людей больше, чем сами погромы. Общественные деятели призывают к жерт-

вованиям в пользу бедствующих; но разве это — серьезная помощь?. Рушились и все мои надежды. Негде достать работу, чтобы прокормить себя. А от моей семьи получаются письма — иеремиады: мой старший сын хочет приехать ко мне сюда, в Одессу; моя жена с двумя маленькими дочерьми просит денег, между тем как я не могу заработать даже для себя одного. Сын пишет, что ему предстоит призыв к воинской повинности в Бердичеве и что он теперь может получить паспорт для приезда в Одессу, но он не имеет денег на это. Я высылаю ему деньги на паспорт и на дорогу. Но что же он будет делать у меня? На его работу наборщика в типографии — сократился спрос, как и на все другие работы, и мы только вдвоем будем страдать.

Клич пронесся по стану израильскому: наши братья в странах свободы собирают большие суммы, чтобы перевезти нас на ту сторону Атлантики. В Америке готовят для нас колонии... Шумят об этом еврейские газеты, пишут и русские. Наши враги только посмеиваются... Еврейские газеты сообщают от имени "Alliance" и главного раввина в Париже, что Палестина не годится для переселенцев, ибо земля ее запущена и климат вреден, и что только Америка — обетованная земля для еврея...

Между тем пронесся слух, что в Бродах учрежден комитет для помощи переселяющимся за океан. Это облегчило боль души: воскресла надежда найти приют для бедствующих. Но этим же воспользовались и люди, не пострадавшие от катастрофы, и близкие к банкротству купцы: они побросали свои дела, не уплатив долгов, и бежали в Америку (через Броды). Сюда присоединилась и толпа искателей приключений, фантазеров, мечтавших о жареных рябчиках за океаном. Весь люд устремился в Броды в надежде, что "ожидающие" их там агенты "Alliance" встретят их с распростертыми объятиями и отправят с почетом в Гамбург для дальнейшего следования в Америку, где их радостно примут водво-

рившиеся там братья из Сувалок и Эйшишок. Убаюканные такими мечтами, многие распродали последние пожитки и уехали в Броды.

3 000 человек измученных, голодных валяются на улицах Брод. В газетах читаем предупреждение, чтобы никто не осмелился больше ехать в Броды, пока не будут отправлены те, которые там скопились. И в Одессе несчастные, уже приготовившиеся в путь, бродят по улицам как тени: от своей торговли они уже отказались, свои квартиры передали другим, и нет им приюта. Они проклинают свою судьбу и "Alliance". Но тут пронесся слух, что партия из 250 эмигрантов была отвезена (из Брод), через Лемберг, в Гамбург и что на всех станциях железной дороги их встречали дамы-благотворительницы с провизией и одеждою в руках. И вот несчастные, стоявшие на пути, покидают Одессу и едут в Броды, забывая, что от 250 человек еще далеко до 3 000 эмигрантов, ждущих там своей очереди.

Евреям иностранного подданства запретили жить в Одессе; им дана кратковременная отсрочка для выезда из города; по прошествии срока, им грозит штраф и высылка. Особенное внимание обращает полиция на турецких подданных: их высылают немедленно, без отсрочки, отводя на пароходы, уходящие в Константинополь.

Вчера утром вышел я из дома искать работу. Три часа ходил — ничего не нашел, хотя накануне я рассчитывал на одну работу — перевод некоторых пьес для жаргонного театра. Расстроенный, вернулся я домой — и тут застаю моего милого сына и шестилетнюю дочку, только что приехавших, исхудалых, утомленных. Два года я их не видел, и в первую минуту обрадовался, но сейчас же вспомнил, что мне даже нечем их угостить, — и я стал упрекать сына, что он взял с собой сестрицу, прежде чем наше положение определилось. Он мне ответил народной поговоркой: "Где двое хлебают, может и третий засунуть

ложку"... "А где двое голодают, — спросил я — может ли с ними голодать шестилетний ребенок?" — "Да, — ответил сын, — и тут она не отстанет". Я пошел и нанял у одного из моих знакомых уголь и стол для детей, пока найду квартир-ку для нас троих.

Между тем я достал еще один двухчасовой урок — обучать мальчика письму, — сверх бывших у меня раньше двух уроков; все это давало мне 20 рублей в месяц. Сын мой отыскал работу в типографии, хотя и не постоянную. Всех этих доходов хватало ровно настолько, чтобы не умереть с голоду...

\*      \*

\*

...Погромы не прекращаются. Дикие банды громил бродят по югу России: Смела, Жмеринка, Конотоп, Нежин и еще города и местечки разорены и ограблены. А собаки еще лают на евреев, и листки разжигают злобу русского человека: доведи, мол, дело до конца, истреби жидов!..

В Одессе выдают заграничные паспорта всем желающим эмигрировать. Даже 20-летние молодые люди, подлежащие к призыву воинской повинности, без труда получают такие паспорта. Составляются небольшие группы лиц разных профессий для переселения из России, где исчезла безопасность. Группы разрастаются. Каждый рисует себе планы новой жизни в новой стране... Доверяются всякому проходимцу. Какой-то темный писец объявил, что он за полтинник вносит в списки каждого, желающего ехать в Америку, — и несколько дней и ночей подряд его квартиру осаждали сотни людей, спешивших уплатить свой взнос, чтобы попасть в заветный американский список...

...Наступили "іомім пороім" (первые осенние праздни-ки) ... Все синагоги переполнены, как всегда в этом сезоне, но

плачут в этом году больше прежнего, ибо каждый чувствует на себе давление тяжелой руки врага. Многие молящиеся смотрят в страницы лежащего перед ними "Machsor", а мысли их далеко, за русской границей, или еще дальше, за океаном... Прошли дни покаяния, и наступил веселый праздник (Сукот), но нет радости еврею. "Новороссийский Телеграф", "Новое Время" и другие гонители возобновили атаку; граф Игнатьев (министр внутренних дел) в своем циркуляре опорочил евреев и поставил их вне закона. Юдофобская пресса дразнит нас: граница для всех открыта, отчего же вы не уходите, прежде чем народ силою выметет вас из страны?..

И действительно, граница открыта для всех желающих. Пограничная стража смотрит сквозь пальцы даже на убегающих за границу (без паспортов). Кто является за паспортом, получает его без всяких справок, в течение дня, лишь бы он заявил: "Хочу покинуть Россию".

Прошел праздник Сукот. Начались осенние холода, нет нужной одежды, а виды на работу плохи... Почва колеблется под ногами, и все же тяжело думать о том, чтобы пуститься в далекий путь искать кусок хлеба.

В это время моему сыну понадобилось получить новый паспорт взамен старого, просроченного. Мы ходили в канцелярию три дня, ждали очереди и каждый раз уходили, не дождавшись ответа. Случайно я прошел через то отделение, где выдаются заграничные паспорта. Из любопытства я подошел к чиновнику и, показав ему свои документы, спросил: могу ли я по ним получить заграничный паспорт? Чиновник заглянул в документы, сложил их, взял лист бумаги, написал на нем прошение о выдаче мне свидетельства для получения заграничного паспорта и дал мне подписать. Я подписал. "Через полчаса приходите," — сказал он мне. Через полчаса чиновник мне уже вручил документы с разрешением полицмейстера на выдачу заграничного паспор-

та... Скоро у меня в кармане был уже и заграничный паспорт для меня и сына.

...Встал вопрос: куда ехать? В Броды? Но в газетах пишут, что там уже скопилось десять тысяч эмигрантов, а тут приближается зима, которая помешает переправить всю эту массу за океан. Друзья дают мне противоречивые советы: одни предостерегают против эмиграции, другие поощряют... Прошло 16 дней со времени получения паспорта; еще пять дней — и паспорт теряет свою силу. Что делать? Остаться? Ехать? И куда, на какие средства ехать трем полуголодным, полуодетым?..

Один из моих знакомых посоветовал мне ехать через Константинополь. У меня в кармане было всего 12 рублей. Я заплатил 10 рублей за пароходные билеты для троих, а два рубля остались в кармане... Вот и день отъезда... Последний звонок, резкий свист — и пароход отчалил от берега.

х х

х

Мы в гавани Стамбула. С парохода мы пересели в лодку, которая перевезла нас в часть города, называемую Галата. По указанию одного из наших спутников, мы попали в гостиницу при каком-то трактире... В день прибытия в Константинополь — понедельник 28 Мархешвана (октябрь) — я ощупал свои карманы и нашел 1 руб. 20 коп. русских денег, сумму вполне достаточную для устройства трех душ в чужой стране. Я начинаю искать людей, которые бы доставили нам работу. В четверг на той же неделе вышли все деньги. Наступили дни поста.

Вечером маленькая дочь просит хлеба — и нет его. Ложимся спать и поворачиваемся с боку на бок до утра. Едва рассветает, я и сын поднимаемся и уходим из дому,

прежде чем проснется девочка, чтобы не слышать ее просьб о хлебе... Шатаемся по улицам Константинополя до полудня, ноги отказываются ходить, мы возвращаемся домой. Девочка слабым голосом пищит: хлеба!.. Я беру ее на руки и прижимаю к сердцу, чтобы успокоить ее. Она понимает этот отклик и смотрит мне прямо в глаза своими черными глазами. Этот взгляд пронизывает мое сердце гораздо сильнее, чем наш голод. Сын смотрит на нас обоих и плачет... Я прижимаю и его голову к своему сердцу, мы вздыхаем, и нам как-будто легче становится. К счастью, никого из приезжих в этот момент не было в комнате.

Три... четыре... пять... шесть часов... Оставляем комнату и идем с сыном в синагогу. Возвращаемся из синагоги, — девочка бежит к нам навстречу: "Идите, вот хлеб и селедка!" — "Откуда?" — спрашиваю. — "Реб Михел сказал, что это для нас". Мы поели, — но да сохранит Бог всякого от такой еды!..

Пришла суббота; мы ели, но, вопреки заповеди, не насытились и не оставили на будни. Воскресенье... Опять пост. К вечеру я продал две книги..., стоящие в Одессе один рубль, за хлеб весом в два килограмма. Мы питались им вечером и следующий день. Во вторник утром я видел доктора Шварца, на которого я возлагал все надежды, но вернулся от него ни с чем... Спустя несколько дней он направил меня к Брейтнеру, представителю австрийского (благотворительного) общества. Прихожу. Крик, ругань, гнев, а затем тихий звон металла: четыре меджиди брошены на стол из щедрот его (Брейтнера), и он исчезает.

Все в нашей гостинице ищут для нас работу, но безуспешно... На последние гроши я взял пароходный билет в Кускунджук, где живет каймакам: его не оказалось дома. Стою посреди улицы и плачу: с чем вернусь я домой? Ведь Босфор отделяет меня от детей... Вдруг предо мною — эспаньол (сефардский еврей), берет меня за руку и говорит:

”Идем!” Я иду за ним. Останавливаемся у одной лавки, где сидит другой эспаньол и ест жареную рыбу.

— Откуда ты? — спросил он меня. — Из Одессы. — Почему ты уехал оттуда? — Чтобы спастись от гонений, воздвигнутых на евреев. — Разве ты один потерпел там, что пустился на чужую сторону? — Нет, десятки тысяч эмигрировали через Броды. — Отчего же ты едешь через Константинополь? — Убегающий не выбирает путей. — Врешь! — Чем же могу доказать, что говорю правду? — Покажи свидетельство от раввинов твоей страны. — Такого у меня нет. — Значит, ты врешь. — У меня нет свидетельства от раввинов, но есть письмо от одного человека с известным именем. — Покажи... И я показал ему письмо путешественника Эфраима Дейнарда, адресованное одному из учителей в школе “Alliance Israelite” не переданное мною за отсутствием адресата. Тогда мой собеседник порылся в кармане, вынул четверть меджиди и подал мне. Я поблагодарил и пошел на берег, чтобы возвратиться в Галату.

На оставшиеся деньги можно было купить хлеба на три дня. Но содержатель гостиницы отказывается держать нас у себя. Он приискал для меня и сына ночлег при молельне “Poalei Zedek” для дочери — в доме одного частного лица. Пришла суббота. В воскресенье нет работы. Вот уже 24 часа мы ничего не ели, но слава Богу, что хоть дочка не голодает с нами.

Один из моих знакомых, выражающий нам участие, давно уже говорил нам, что нет другого выхода, как обратиться к местным миссионерам. В понедельник утром он опять явился ко мне, зная, что мы уже 38 часов сидим голодные. — ”Вы все еще упорствуете и не хотите следовать моему совету? — спросил он... — Вот я сейчас был у батюшки (так называли заведующего домом, где содержались приготовляемые к крещению евреи) и много говорил с ним о вас”. — ”Ступайте куда хотите, только нам не смейте предлагать

ничего подобного.” — ”Но я не могу видеть, как вы умираете с голоду”. — ”Лучше умереть, чем продать свою совесть.” — ”Да вы не продадитесь, а на время избавитесь от мук”. — ”Но ведь он (миссионер) начнет проповедывать нам свое учение!..” — ”Владейте собою и не противоречьте ему, пока не найдете другого исхода; тогда можете его оставить”.

Я ему ответил, что мы в дом ”батюшки” не поступим, но если миссионер хочет что-нибудь сделать для нас, пусть приищет работу в типографии для моего сына и любое занятие для меня, а уж потом будем рассуждать с ним, чья вера лучше.

Знакомый ушел. Прошло еще три часа... В два часа пополудни он вернулся и пригласил нас идти за ним. Мы пошли по узким и кривым улицам и остановились на углу одной улицы, перед книжной лавкой ”батюшки”. Знакомый указал нам вход в дом и удалился. Мы стояли с четверть часа, не решаясь войти; но голод взял свое — и толкнул нас в лавку.

— Чем могу служить? — спросил нас человек среднего роста с большой бородой и длинными усами.

— Мы эмигранты из России и ищем работу.

— Разве я посредник между рабочими и работодателями... Кто же вас послал ко мне?

Я назвал имя нашего знакомого.

— А он разве не сказал вам, кто я?

— Сказал, но мы не хотели идти к вам, пока вы не обещаете достать работу для нас, чтобы мы могли утолить свой голод.

— Какие же ваши профессии?

— Сын мой наборщик, а я знаю бухгалтерию, давал также уроки древнееврейского, русского и немецкого языков.

— Ни вы, ни сын ваш не найдете здесь работы; но послушайте меня, ищите правды — и Бог вас услышит и даст

вам все нужное. Много у вас прозелитов, пришедших сюда голяками, а ныне ставших зажиточными купцами...

— Какую же правду нам искать?

— Ту, которая покажет вам, какая вера истинная...\*

★ ★

★

В Варшаве громилы наделали опустошения. Из России — вопли: нет возможности жить там нашим братьям. Еврейские газеты печатают проекты относительно будущего и скорбят о настоящем. Бежим! — вот лозунг десятков тысяч. Десятками прибывают эмигранты и сюда (в Константинополь). Даже портные и сапожники, которые до сих пор кое-как прокармливались здесь, шатаются теперь без работы. Сотни людей, имеющих деньги, отправляются в Святую Землю, но что там делать идущей за ними толпе бедняков?

... Мой сын работает в типографии и любим всеми товарищами. Я тоже достал кой-какой заработок: обучаю отца и сына письму по два часа в день, за три меджиди в месяц, но на этот урок я трачу почти полдня...

Из России сообщают о посте, плаче и молитве. Постятся и плачут несчастные... Лучше было бы не сидеть сложа руки и предотвратить бедствие. Но узник сам себя не может выпустить из заточения...

---

\* Пропускаем обычную миссионерскую беседу. После резких реплик автора записок, миссионер предложил ему и сыну явиться в один из ближайших дней в собрание, где "главный пастор" Тамар будет держать миссионерскую проповедь. Хозяин лавки поднес им хлеб с селедкой, а жестокий голод заставил их принять угощение. В среду автор записок явился на проповедь, а затем имел длинный религиозный диспут с пастором, ничем не кончившийся. — Далее опускаем ряд мелочей и один странный эпизод — о каком-то жившем в Одессе турецком еврее, который в 1879–1880 гг. пытался раскрыть перед русским правительством замыслы террористов и тем не менее был выслан из России среди других иностранноподданных евреев. *Ред.*

Ловцы (миссионеры) здесь, в Константинополе, распустили свои сети. Из-за куска хлеба многие совершают грех. Дом для отступников (готовящихся к крещению) переполнен; но эти люди не теряют надежды возвратиться (в иудейство, при благоприятных условиях)...

...Мой сын лишился работы в типографии... Снова нужда. А тут подходят дни Пасхи: "хлеб бедности" (маца) требует больших денег. Я обратился к учителю одной из школ "Alliance israelite" по имени Фархи. Он дал мне письмо к Каймакаму-Эфенди. Последний сказал мне, чтобы я обратился к общине ашкеназов. Ашкеназы направили меня к польским (благотворительным) обществам. Это — те, большей частью австрийские общества "Ohawe Zedek" и "Poale Zedek", о которых я уже говорил. Но тяжело обращаться к ним. Придется праздновать Пасху без мацы... Мой знакомый сафедец посоветовал мне обратиться к директору училища Alliance'a Блоху. Я ему написал, и он оказался добрым человеком, любителем древнееврейского языка. Встретил ласково, похвалил мой еврейский стиль, дал мне одно меджиди из своих денег и карточку с несколькими словами к Брейтнеру, президенту австрийского общества.

Когда я пришел к Брейтнеру, он раскричался и стал бранить меня. Я повернулся, чтобы уйти, но он меня позвал и спросил, откуда я знаю директора Блоха. — "Мы с ним братья, вскормленные одной грудью". — "Вы шутите?" — спросил Брейтнер. — "Нет, еврейская речь — наша общая кормилица, и мое перо расположило ко мне директора". Брейтнер улыбнулся и подал мне три меджиди. Я поблагодарил и ушел. Четыре меджиди — большие деньги для меня, но сколько крови высосали из моего сердца эти унижительные подачки!

Пасха... Газеты рассказывают о бесконечных бедствиях евреев в России и о благодеяниях наших братьев во Франции и Англии по отношению к несчастным беглецам из России...

Я начал думать об оставлении Константинополя. Снова обратился к Каймакаму-Эфенди с просьбой указать нам способ получения бесплатных пароходных билетов для переезда во Францию, где мы надеемся найти пропитание. Шесть раз я просил и уходил ни с чем, а в седьмой раз он обещал дать мне на проезд пароходом до Салоник. Но когда я сообщил сыну эту радостную весть, он не согласился ехать в Салоники, напомнив мне о положении по прибытии в Константинополь. Я со своей стороны понял, что сын мой прав.

Между тем погромы в России возобновились. Балтский погром потряс всех. С каждым днем увеличивается число эмигрантов, едущих через Константинополь и наполняющих улицы Галаты. Все — почерневшие лица, исхудалые, с печатью страшной скорби. Австрийское общество раскошело и понемногу поддерживает несчастных... Прибыл и мой друг А. Д. (Дейнард?) и богач Л. М. Они дожидаются здесь приезда сэра Олифанта и говорят, что в его руках судьба изгнанников, так как он располагает огромными капиталами, пожертвованными британскими богачами для основания колоний в Святой земле...

Ходоки один за другим спешат в Палестину через Константинополь. Все направляются в Яффу... Вот и на улицах Галаты слышны клики торжества: Олифант приехал! Он сделает!... Ожили эмигранты. Но Л. М. виделся с Олифантом, да и д-р (Шварц) его посетил, — и открылось, что у этого господина нет денег и планы рухнули... Л. М. говорит, что это не тот Олифант, которого он видел в Лемберге полным надежд: теперь он меняет свои слова, смущен и явно отступает.

Миссия напускает на эмигрантов своих агентов, иудео-христиан, раздает каждой семье по четверти меджиди с тем, чтобы те приходили слушать проповедь их пастора по

средам. "Батюшка"-благодетель снабжает несчастных книжками из миссионерской типографии...

Пошли слухи, что деятели "Alliance" в Константинополе получили (из Парижа) распоряжение — отправить во Францию тех эмигрантов, которые пожелают туда ехать. Я поспешил к д-ру Ш., чтобы узнать, верно-ли это, но не застал его дома. На другой день я поджидал доктора в его аптеке, что в Галате, увидел там его помощника и получил обещание, что и меня зачислят в партию отправляемых во Францию, если только обстоятельства будут благоприятствовать этому плану...

Наконец, настал решительный момент. Д-р Ш. велел мне явиться на следующий день в молельню "австрийцев", где меня внесут в список едущих во Францию. Все эмигранты, попавшие в список, радовались — чему? Разве им там приготовили благоустроенные поместья, или французская земля чудом прокормит всякого, кто ступит на нее? Каждый тешил себя надеждою, что авось во Франции улыбнется ему счастье... На другой день все заблаговременно явились. Я явился одним из первых. По очереди мы представлялись заведующим. За столом восседали Брейтнер, директор Блох, д-р Ш., М. Б. и еще два-три неизвестных мне человека... \*

\* На этом обрываются записки Л. Криппе. Из других его рукописей и показаний родных мы узнаем, что он действительно попал в Париж (1882 г.) и оставался там до своих последних дней. В наших руках был манускрипт написанной им в Париже драмы на древнееврейском языке. Манускрипт покрыт автографами европейских знаменитостей, которым автор подносил свое сочинение для получения подписки. Повидимому, и Париж не избавил еврейского эмигранта от бедствий и необходимости обращаться к благотворителям.

# коротко о книгах

ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

"СВЯЗЬ ВРЕМЕН"

Сборник стихов,

Тель-Авив, 1975

Время от времени мы, израильтяне, задаем себе горький вопрос: почему и цивилизованные страны Запада, и даже тоталитарный европейский Восток немыслимы без великих евреев, а мы, сколько по сусекам не скреби, перебиваемся, как говорится, с хлеба на квас? Почему Давид Ойстрах, Исаак Бабель, Михаил Ботвинник — это слава антисемитской России? Почему Марк Шагал — прекрасное лицо Франции? Почему "отец водородной бомбы" Таллер и "отец ядерных подлодок" адмирал Риквер — это мозг Соединенных Штатов? Не хочется верить в то, что сегодня, когда евреи вновь стали израильтянами, наш ум и наше чувство — это только рав Кук, рав Горен, рав Френкель, рав, рав, рав...

Когда поэт Иосиф Бродский, минуя Израиль, поехал с израильской визой из Ленинграда в Нью-Йорк, мы огорчились: "Какой прекрасный поэт! Как жаль, что он предпочел родине новый галут". Примерно то же самое говорили и о Науме Коржавине, стартовавшем из Вены в США, хотя Коржавину до Бродского очень, очень далеко. Они — русскоязычные поэты с еврейской судьбой; быть может, они считают, что американские сосны будут напоминать им русскую березу острее, чем наши пальмы. Поэты куда привязчивей к месту рождения, чем, скажем, прозаики — будь этим местом даже гостиница, откуда тебя, уже уплатившего по счету, коридорный никак не выпускает.

Было бы удивительно, если бы Лия Владимирова отрезала в своей памяти воспоминания о России, как кусок кровяной колбасы. Вот что она пишет:

Моя тарусская Россия,  
Моя владимирская ширь,  
Моя возлюбленная Лия,  
И Руфь, и нежная Эсфирь!

И блещет двуединым светом  
Крыло у каждого плеча,  
И две судьбы, как два завета,  
В меня вошли, кровотока.

Это блистательные стихи, честные до последнего предела, за которым — Истина.

О Лии Владимировой не трубили газеты, не кричало радио: она ведь не поехала в Америку, она прилетела в Лод, верная двум заветам — но не третьему, иммигрантскому. Если б мы ее потеряли и глядели на нее через океан — жалели бы о потере. Получив — привыкли. А к хорошему поэту нельзя привыкать, это — грех.

Сборник Лии Владимировой "Связь времен" включает в себя семь разделов. Каждый раздел — целая эпоха в жизни поэта. Вот что пишет Владимировна о России в одном из стихотворений цикла, озаглавленном символически и достаточно прозрачно — "Рогожа":

Который век несешь покорно  
Двойной судьбы нелегкий крест:  
Днем — пишешь ордер на арест,  
И ждешь ареста ночью черной.

Есть на свете другая земля — другая судьба, второе крыло:

Песнопевцы и пророки,  
Слышу ваш призывный глас.  
Край родимый, край жестокий  
Покидаю. В добрый час!

Вот это, как мне кажется, и есть то самое поэтическое видение, то самое тревожное и неповторимое состояние души, которое зовется еврейско-русской культурой, так щедро обогатившей идеалистический сионизм.

Лия Владимировна более известна русским эмигрантам, рассеянным по всему свету, чем нам, ее согражданам, израильтянам. А мы вправе гордиться замечательным поэтом, живущим среди нас — не выискивая галутных кумиров в цивилизованной Америке и варварской России.

Р. и У. ЧЕРЧИЛЛЬ

## "ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА"

Библиотека "Алия", № 17

Эта книга о Шестидневной войне — самой победоносной войне Нового времени. Авторы книги — сын и внук великого англичанина Уинстона Черчилля — избрали при подаче материала "журналистский стиль", лаконичный и убедительный. Не столь важно, что авторы — убежденные произраильтяне: они следовали за фактами, а факты эти

общеизвестны. Оценка же фактов — дело, как говорится, хозяйское. Вот с какой оценкой корреспондента "Обсервер" Колина Легама солидаризируются авторы: "Единственная аналогия, которая приходит на ум, это если бы Англия через три дня после Дюнкерка овладела Берлином. Слишком ошеломителен был переход от состояния острой опасности к беспримерной победе, чтобы можно было освоиться с ситуацией. Требуется время, чтобы к этому привыкнуть". (стр.214). Речь в этой цитате идет, понятно, о нашей победе в Шестидневной войне.

Надо отдать должное авторам — они изучили массу военных и политических материалов, прежде чем мастерски изложили и предысторию, и историю Шестидневной войны на двухсот пятидесяти страницах убоистого шрифта. Книга "от корки до корки" читается, как увлекательный роман. Многочисленные вставки из дневников солдат и офицеров, из английских, американских и арабских газет делают книгу еще более живой, еще более документально-достоверной.

Вдумчиво и пронизательно анализируют авторы положение в Израиле перед самым началом войны: "Во всей стране, в особенности в армии, нарастали чувства беспокойства и недовольства. Это был один из тех редких в демократическом обществе случаев, когда общественное мнение смогло эффективно повлиять на правительство, помимо выборов в парламент. Страна требовала принятия решения и желала видеть у кормила власти человека, которого она знала и которому доверяла... Перед лицом арабской угрозы израильский народ обратил свои взоры на одного человека — генерала Моше Даяна, победителя в Синайской компании 1956 года".

Отдельная глава книги посвящена разгрому авиации противника в первые же часы войны. Авторы разделяют мнение большинства военных историков: исход войны был предreshen в утренние часы 5 июня 1967 года. Последующие главы рассказывают об операциях в Синае, на Западном берегу Иордана и на Голанских высотах.

Победу в войне делают не новейшие танки и самолеты, а те, кто сидят в этих танках и самолетах — вот основная идея книги "Шестидневная война". Предельно точно определяют авторы лицо нашей армии того периода — со стороны оно, наверно, видней: "Вооруженные силы, которые оказались под командованием Даяна за неполные 80 часов до начала войны, были замечательной и единственной в своем роде военной машиной. Они формировались из сельскохозяйственных рабочих, зеленщиков, водителей такси и состоятельных деловых людей — на четыре пятых из резервистов. Тем не менее, в деле защиты своей родины это была одна из лучших армий, какие когда-либо видел мир".

Репатриантам из России стоит прочитать эту книгу о Шестидневной войне, всколыхнувшей еврейское национальное движение в СССР и приведшей к массовой Алии 70-х годов.

*Д. Маген*

Д. ШАХАР

## ”ДВОРЕЦ БИТЫХ СОСУДОВ”

Роман израильского писателя Давида Шахара ”Дворец битых сосудов” недавно издан на английском языке в США. Американская критика высоко оценила переведенную с иврита книгу. ”Нью-Йорк Таймс”, например, писала, что образ матери в романе Шахара может стать в ряд с лучшими женскими образами мировой литературы.

Давид Шахар — прозаик и переводчик. Он начал печататься после второй мировой войны и с тех пор опубликовал много сборников рассказов и несколько романов. ”Дворец битых сосудов” — вторая книга Давида Шахара, увидевшая свет в США.

Главный персонаж — сорокалетний Габриэль Лурье, единственный сын Жентилы, жены зажиточного и знатного Иегуды, которому оттоманская власть присвоила почетное звание ”бек”. У Иегуды есть еще одна жена, проживающая в Яффо, и он делит свои супружеские ласки между двумя враждующими женщинами.

Рассказ начинается с того момента, когда Габриэль возвращается из Парижа в Иерусалим. Во Франции он изучал медицину, но забросил учебу, из-за чего отец перестал его содержать.

Действие происходит в годы, предшествовавшие второй мировой войне. В Иерусалиме почти ничего не изменилось с периода оттоманского владычества. Древнее-преддревнее сосуществует с наиболее современным в быту, культуре и мировоззрении.

Жизнь Габриэля в Иерусалиме кажется беспорядочной, расточительной и бесцельной. Но при более близком знакомстве с героем и его приятелями мы убеждаемся, что, хотя они очень разные по натуре и убеждениям, все ищут пути изменить и усовершенствовать человеческую сущность.

З. Гу





Все права на литературные материалы, опубликованные в журнале "Сион", принадлежат авторам

**Главный редактор Д. Маркиш**

**Редакционная коллегия: З. Гительман, И. Гольденберг,  
М. Занд, А. Лев-Ран, А. Фельдман, И. Якоби**

**Адрес редакции:**

**Тель-Авив, ул.Хиссин, 4 "А", подъезд 2, кв.8  
тел.299942, 299832**

**Издательство и типография "Карив", Тель-Авив, ул.Амикцоа,7.**

Нижеподписавшиеся выражают протест против принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции, в которой сионизм приравнивается к расизму. Эта фальсификация исторической правды предает забвению геноцид, жертвой которого пали 6 миллионов евреев, и извращает стремление евреев, преследуемых расизмом, обрести национальное единство. Она наносит ущерб делу мира и идет вразрез с предназначением Объединенных наций.

Франсуа Миттеран, Пьер Мендес-Фран, Андре Мальро, Андрей Сахаров (лауреат Нобелевской премии), Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Рене Кассен (лауреат Нобелевской премии), Альфред Кастлер (лауреат Нобелевской премии), Франсуа Жакоб (лауреат Нобелевской премии), Андрей Львов (лауреат Нобелевской премии).

Цена 8 л.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА

Читайте:

ДАВИД МАРКИШ. Остров

МИХАИЛ АГУРСКИЙ. Русский национализм  
и еврейский вопрос

ЗЕЕВ ГИТЕЛЬМАН. И в раю судят не ангелы

ЮЛИЙ МАРГОЛИН. Галя

БАЛЬЦАН. Иврит: мост или пропасть?

Г. МАНЕВИЧ. Бялик и Пушкин

БЕРНШТЕЙН-КОЭН. Воспоминания

В. БОГОРАЗ-ТАН. Евреи в Абиссинии

Г. СЕРЕБРЯНЫЙ. Инфляция: что это?

СТИХИ Давида АВИДАНА, Лии ВЛАДИМИ-  
РОВОЙ, Леви ШААРА.